

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000039410223

он Максвелл  
**Кутзее**

Смерть Иисуса

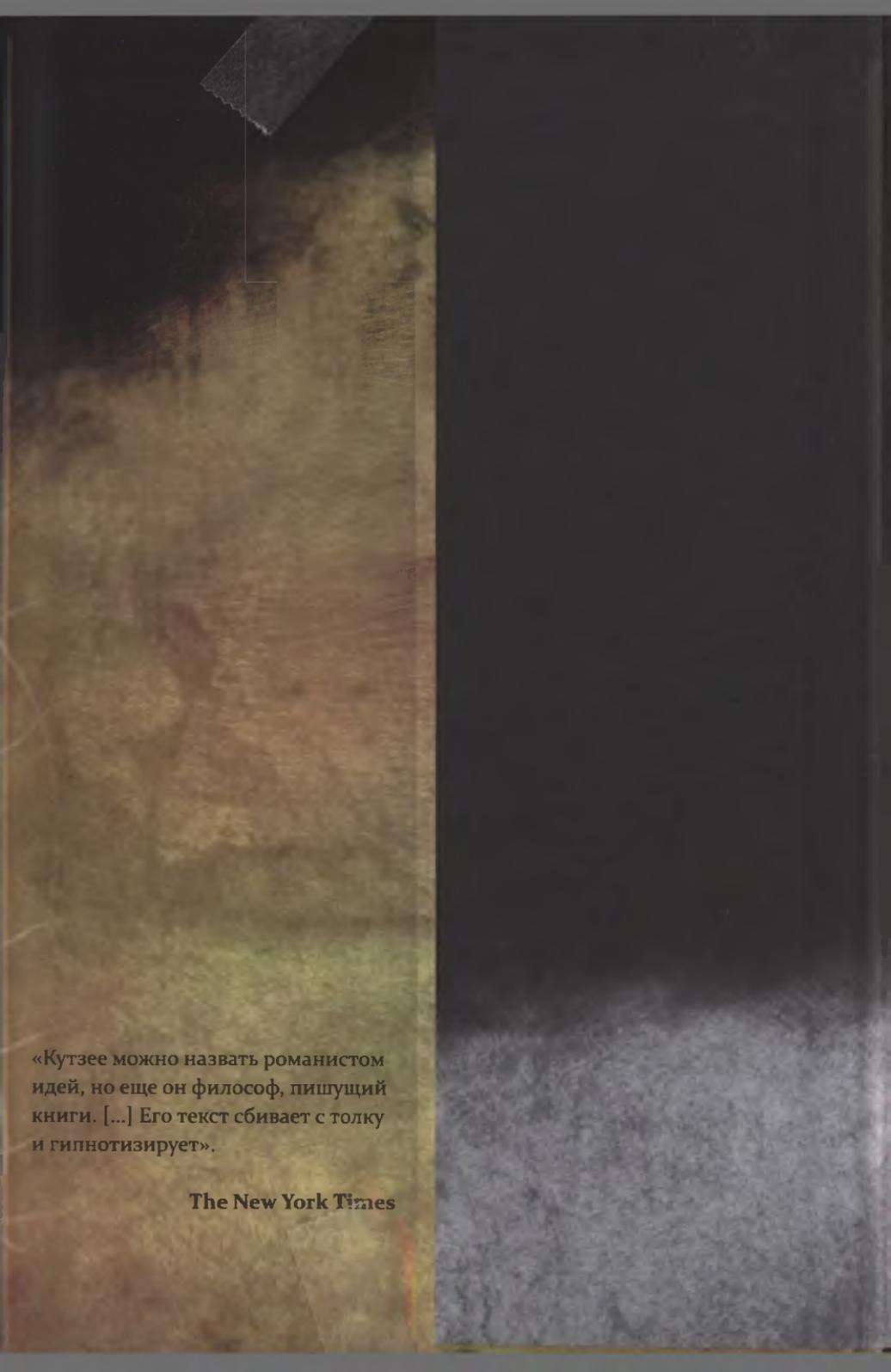


ЛУЧШЕЕ  
ИЗ ЛУЧШЕГО  
КНИЖИ  
ЛАУРЕАТОВ  
МИРОВЫХ  
ЛИТЕРАТУРНЫХ  
ПРЕМИЙ

*Будь  
отважен,  
Будь светел  
в беде.*



**KIRK**



«Кутзее можно назвать романистом  
идей, но еще он философ, пишущий  
книги. [...] Его текст сбивает с толку  
и гипнотизирует».

**The New York Times**

Читайте в трилогии об Иисусе:

«Детство Иисуса»

«Школьные дни Иисуса»

«Смерть Иисуса»

JAN - 4 2022

## Ч и т а й т е в с е р и и

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Дж. М. Кутзее   | Д. Лессинг                  |
| Детство Иисуса  | Марта Квест                 |
| Дж. М. Кутзее   | М. Этвуд                    |
| Сцены из провинциальной жизни                                       | Слепой убийца               |
| Дж. М. Кутзее   | Б. Дилан                    |
| Медленный человек   | Хроники                     |
| Дж. М. Кутзее   | Б. Дилан                    |
| Школьные дни Иисуса   | Тарантул                    |
| Дж. М. Кутзее   | Т. Т. Энг                   |
| Осень в Петербурге  | Сад вечерних туманов        |
| Дж. М. Кутзее   | И. Макьюэн                  |
| Элизабет Костелло   | В скорлупе                  |
| Дж. М. Кутзее   | И. Макьюэн                  |
| Толстой, Беккет, Флобер и другие.<br>23 очерка о мировой литературе | Цементный сад               |
| Р. Флэнаган   | П. Бейти                    |
| Узкая дорога на дальний север                                       | Продажная тварь             |
| Р. Флэнаган   | П. Фицджеральд              |
| Смерть речного лоцмана  | Книжная лавка               |
| Р. Флэнаган   | П. Фицджеральд              |
| Желание   | В открытом море             |
| Р. Флэнаган   | М. Конде                    |
| Неизвестный террорист   | Я, Титуба, ведьма из Салема |
| Т. Моррисон   | Ж.-М. Г. Леклезю            |
| Возлюбленная  | Битна, под небом Сеула      |
| Т. Моррисон   | Ж.-М. Г. Леклезю            |
| Боже, храни мое дитя  | Африканец                   |
| Т. Моррисон   |                             |
| Любовь  |                             |
| Т. Моррисон   |                             |
| Песнь Соломона  |                             |

Джон Максвелл  
**Кутзее**

Смерть  
Иисуса



Москва  
2021

УДК 821.111-31(680)  
ББК 84(6Южн)-44  
К95

J. M. Coetzee

THE DEATH OF JESUS

Copyright © 2020 by J. M. Coetzee

By arrangement with Peter Lampack Agency Inc. Fifth  
Avenue, Suite 5300, New York, NY 10118, USA

Перевод с английского *Шаши Мартыновой*

Разработка серии *К.А. Териной*

Дизайн переплета *А.Г. Саукова*

В оформлении переплета  
использована иллюстрация *М. Мовшиной*

**Кутзее, Джон Максвелл.**

К95 Смерть Иисуса / Дж. М. Кутзее ; [перевод с английского Ш. Мартыновой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 256 с. — (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).

ISBN 978-5-04-113664-2

Давиду уже десять. Он играет в футбол и спорит с родителями, но, несмотря на такие привычные мальчишеские повадки, он совсем не похож на сверстников. История о пути Давида в этом мире полна непростых вопросов о жизни, людях и памяти. Философский и пронизанный размышлениями, «Смерть Иисуса» — невероятный по своей силе роман, каждое слово которого — с трудом постижимая загадка.

УДК 821.111-31(680)  
ББК 84(6Южн)-44

© Мартынова Ш., перевод  
на русский язык, 2020

© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2021

ISBN 978-5-04-113664-2

## Глава 1

Осенний день, зябко. Он стоит на заросшем травой пустыре позади многоквартирного дома, наблюдает за футбольным матчем. Обычно он — единственный зритель, смотрит, как играют соседские дети. Но сегодня останавливаются посмотреть двое посторонних: мужчина в темном костюме, а с ним девочка в школьной форме.

Мяч вылетает по дуге с левого края — оттуда, где играет Давид. Захватив мяч, Давид легко обходит защитника, выбежавшего ему помешать, и навесным ударом отправляет мяч в центр. Мяч ускользает от всех, ускользает от вратаря, пересекает линию ворот.

Дети играют по будням, команд как таковых у них нет. Мальчики собираются, как им удобно, включаются в игру, выпадают из нее. То их на поле тридцать, то всего полдюжины. Когда Давид только-только влился в эти игры три года назад, он был младшим и самым мелким. А теперь он среди мальчиков покрупнее,

но верток, хоть и высок, быстроног — коварный нападающий.

В игре затишье. Чужаки приближаются; пес, дремлющий у его ног, просыпается и поднимает голову.

— Добрый день, — говорит мужчина. — Что за команды играют?

— Это просто дворовая игра местной детворы.

— Неплохо у них получается, — говорит чужак. — Вы родитель?

Родитель ли он? Стоит ли объяснить, кто он такой на самом деле?

— Вон тот — мой сын, — говорит он. — Давид. Высокий мальчик, темноволосый.

Чужак оглядывает Давида, высокого темноволосого мальчика, рассеянно бредущего по полю без особого внимания к игре.

— Они не думали собрать команду? — спрашивает чужак. — Позвольте представиться. Меня зовут Хулио Фабриканте. А это Мария Пруденсия. Мы из «Лас Маноса». Слыхали о «Лас Маносе»? Нет? Это сиротский приют на том берегу реки.

— Симон, — говорит он.

Симон пожимает руку Хулио Фабриканте из приюта, кивает Марии Пруденсии. Марии, предполагает он, лет четырнадцать, крепко сбитая, с тяжелыми бровями и развитым бюстом.

— Я спрашиваю, потому что мы б с удовольствием приютили такую команду. У нас есть

настоящее поле с настоящей разметкой и настоящими воротами.

— Думаю, им хватает просто пинать мяч.

— Если не соревноваться, навыков не накопишь, — говорит Хулио.

— Согласен. Вместе с тем, если создавать команду, придется выбрать одиннадцать, а остальных исключить, а это противоречит духу, который им здесь удалось создать. Я так это понимаю. Но может, и ошибаюсь. Возможно, они и вправду хотели бы соревноваться и копировать навыки. Спросите у них.

Мяч у ног Давида. Он делает финт влево, бежит вправо, движется так гладко, что защитник остается не у дел. Пасует напарнику по команде и наблюдает, как напарник безвольно забрасывает мяч в руки вратарю.

— Очень хорош он, ваш сын, — говорит Хулио. — От природы.

— У него преимущество перед друзьями. Он берет уроки танцев, оттого у него хорошо с равновесием. Если б остальные мальчики брали уроки танцев, у них получалось бы так же.

— Слышишь, Мария? — говорит Хулио. — Может, надо последовать примеру Давида и позаниматься танцами.

Мария упорно смотрит прямо перед собой.

— Мария Пруденсия играет в футбол, — говорит Хулио. — Она у нас в команде один из главных бойцов.

Солнце садится. Скоро мальчик — хозяин мяча заберет его («Мне пора»), и игроки разбредутся по домам.

— Я понимаю, что вы им не тренер, — говорит Хулио. — И мне ясно, что вы не поклонник организованного спорта. Тем не менее подумайте — ради этих мальчиков. Вот моя карточка. Им, может, понравится играть командой против другой команды. Очень приятно было познакомиться.

*Д-р Хулио Фабриканте, Educador*, — гласит карточка. — *Orfanato de Las Manos, Estrella 4*.

— Пошли, Боливар, — говорит он. — Пора домой.

Собака с усилием встает, зловонно пукает.

За ужином Давид спрашивает:

— Что это был за человек, с которым ты разговаривал?

— Его зовут доктор Хулио Фабриканте. Вот его карточка. Он из приюта. Предлагает вам собрать команду, чтобы играть против команды из приюта.

Инес рассматривает карточку.

— *Educador*, — читает она. — Что это такое?

— Затеяливое название учителя.

Когда он приходит на травянистое поле на завтра после обеда, доктор Фабриканте уже там — разговаривает с мальчиками, сгрудившимися вокруг.

— Можете и название для своей команды выбрать, — говорит он. — И цвет командных футболок выбрать.

— «Лос Гатос», — говорит один мальчик.

— «Лас Пантерас», — говорит другой.

«Лас Пантерас» мальчикам нравится, а предложение доктора Хулио их, похоже, воодушевляет.

— Мы у себя в приюте зовемся «Лос Алько-нес» — в честь ястреба, птицы, у которой самый зоркий глаз.

Давид спрашивает:

— Почему вы не назвались «Лос Уэрфанос»?  
Неловкая тишина.

— Потому что, молодой человек, — отвечает доктор Фабриканте, — мы не ищем поблажек. Не просим, чтобы нам подыгрывали из-за того, кто мы такие.

— Вы сирота? — спрашивает Давид.

— Нет, сам я, так вышло, не сирота, но отвечаю за приют и живу в нем. Я питаю громадное уважение и любовь к сиротам, а их на белом свете гораздо больше, чем вы, вероятно, думаете.

Мальчики помалкивают. Он, Симон, тоже молчит.

— Я сирота, — говорит Давид. — Можно мне играть у вас в команде?

Мальчики прыскают. Они привыкли к подначкам Давида.

— Перестань, Давид! — яростно шепчет кто-то.

Пора вмешаться.

— Не уверен, Давид, что ты понимаешь как следует, что такое быть сиротой — настоящим сиротой. У сироты нет семьи, нет дома. Тут-то и возникает доктор Хулио. Он предоставляет сиротам дом. У тебя дом уже есть. — Обращается к доктору Хулио: — Простите, что втянул вас в семейный спор.

— Не за что извиняться. Вопрос, поднятый юным Давидом, важен. Что это значит — быть сиротой? Значит ли это всего лишь, что у тебя нет зримых родителей? Нет. Быть сиротой — на глубочайшем уровне — значит быть одиноким на всем белом свете. В некотором смысле все мы сироты, ибо мы все на глубочайшем уровне одиноки на белом свете. Как я говорю молодежи, вверенной моим заботам, нет ничего постыдного в том, чтобы жить в приюте, ибо приют есть микрокосм общества.

— Вы не ответили, — говорит Давид. — Можно мне играть у вас в команде?

— Лучше играй за свою команду, — говорит доктор Фабриканте. — Если бы все играли за «Лос Альконес», у нас бы не было противников. Никакого соревнования.

— Я не прошу за всех. Я прошу за меня.

Доктор Фабриканте поворачивается к нему, Симону.

*Смерть Иисуса*

— Что скажете, сеньор? Одобряете «Лас Пантерас» как название вашей команды?

— У меня нет мнения, — отвечает он. — Я не хотел бы навязывать свои вкусы этим юношам. — Тут он умолкает. Хотел бы добавить: *...этим юношам, которые, покуда не явились вы, счастливы были играть в футбол по своему разумению.*

## Глава 2

Четвертый год они проживают в этом многоквартирном доме. Хотя квартира Инес на втором этаже достаточно просторная для всех троих, он, Симон, по их обоюдному согласию вселился в отдельную квартиру на первом, поменьше и попроще обставленную. Ему она стала по карману с тех пор, как к его заработку возникла надбавка за увечье спины, которая так и не исцелилась как следует, с тех самых пор, когда он трудился грузчиком в Новилле.

У него есть свой доход и своя квартира, но нет круга общения — не потому, что он нелюдим, и не потому, что Эстрелла — неприветливый город, а потому что он, Симон, давно решил целиком посвятить себя воспитанию мальчика. Инес же проводит дни, а иногда и вечера в заботах о магазине модной одежды, в котором она совладелица. Ее друзья — из «Модас Модернас» и более широкого мира моды. Симон сознательно не интересуется этими друзьями.

Есть ли у нее среди друзей любовники, он не знает и знать не желает — лишь бы оставалась хорошей матерью.

У нее под крылом Давид благоденствует. Он силен и здоров. Годы тому назад, когда они жили в Новилле, приходилось воевать с государственной системой образования. Учителя Давида считали его *obstinado* — своенравным. С тех пор от государственных школ Давида держали подальше.

Он, Симон, уверен, что ребенок со столь явной врожденной смекалкой способен обойтись без формального образования. *Это исключительный ребенок*, — говорит он Инес. — *Кто в силах предсказать, в каком направлении он одарен?* Инес, когда настроена пощедрее, даже готова с этим соглашаться.

В Академии музыки в Эстрелле Давид посещает занятия по пению и танцам. Пение ведет директор Академии Хуан Себастьян Арройо. В танце же его в Академии никто ничему научить не может. В те дни, когда является на занятия, он танцует как ему заблагорассудится, остальные же ученики повторяют за ним, а если у них не получается — наблюдают.

Он, Симон, — тоже танцор, пусть и поздно обращенный, да и без дарования. Он танцует сам по себе, по вечерам, уединенно. Облачившись в пижаму, включает граммофон на небольшую громкость и танцует сам с собою,

зажмурившись, долго — пока ум не опорожняется совсем. Затем Симон выключает музыку, ложится в постель и спит сном праведных.

Почти все вечера музыка — танцевальная сюита для флейты и скрипки, сочиненная Арройо на смерть своей второй жены Аны Магдалены. У танцев нет названий, у записи, подготовленной где-то в подсобке какой-то лавки в городе, нет этикетки. Музыка же медленная, величественная и печальная.

Давид не снисходит до посещения обычных уроков, особенно до упражнений по математике, в отличие от всех нормальных десятилеток, из-за предубеждения против арифметики, какую поддерживала в нем покойная сеньора Арройо: она внушила ученикам, прошедшим через ее руки, что целые числа — это божества, небесные сущности, они существовали до того, как возник физический мир, и продолжают существовать после того, как мир завершит быть, а потому заслуживают почтения. Смешивать числа между собой (*adición, sustracción*), или рубить их на куски (*fracciones*), или применять их к измерению количеств кирпичей или муки (*la medida*) — значит оскорблять их божественность.

На десятилетие они с Инес подарили Давиду часы, Давид отказывается их носить, потому что (как он говорит) они навязывают числам

круговой порядок. Девять часов — перед десятью часами, говорит он, но девять — ни перед, ни после десяти.

К приверженности сеньоры Арройо к числам, воплощенным в танцах, которые она преподавала своим ученикам, Давид добавляет свой идиосинкразический штрих: соотносит числа с определенными звездами на небе.

Он, Симон, не понимает философии чисел (про себя он считает ее не философией, а культом), проповедуемой в Академии: открыто — почившей сеньорой, сдержаннее — вдовцом Арройо и его друзьями-музыкантами. Симон не понимает этой философии, но относится терпимо не только из-за Давида, но и потому, что, когда находит на него подобающий настрой, его, Симона, посещает видение — мимолетное, неуловимое — того, о чем говорила сеньора Арройо: серебристые сферы, их так много, что и не сосчитаешь, они с неземным гулом вращаются друг вокруг дружки в бескрайнем пространстве.

Он танцует, у него видения, но он все равно не считает, что его обратили в культ чисел. Для видений у него есть разумное объяснение, и оно его почти всегда устраивает: убаюкивающий ритм танца, гипнотический напев флейты наводят транс, в котором со дна памяти подтягиваются осколки — они-то и вращаются перед мысленным взором.

Давид не может или не желает заниматься арифметикой. Что еще тревожнее, он не желает читать. Вернее, выучившись читать по «Дон Кихоту», он не выказывает интереса к чтению никаких других книг. «Дон Кихота» он знает наизусть — в сокращенной версии для детей, относится к «Дон Кихоту» не как к выдумке, а как к исторической правде. Где-то на белом свете — не на этом, так на том — странствует Дон Кихот верхом на своем скакуне Росинанте, а рядом трусит на осле Санчо.

У него, Симона, с мальчиком споры о «Дон Кихоте». Открылся бы ты другим книгам, говорит он, Симон, — узнал бы, что на свете множество героев помимо Дона, а также героинь, вымышленных из ничего плодовитыми умами писателей. Более того, ты ребенок одаренный, мог бы сам выдумывать героев и отправлять их в большой мир искать приключения.

Давид едва слушает.

— Не хочу я читать другие книги, — говорит он небрежно. — Я уже умею читать.

— У тебя ошибочные представления о том, что такое чтение. Читать — это не просто превращать напечатанные значки в звуки. Читать — это глубже. Читать по-настоящему означает слышать, что книга хочет сказать, и осмыслять это — возможно, даже беседовать с автором у себя в уме. Это означает постигать

мир таким, какой он есть, а не таким, каким ты хочешь его видеть.

— Зачем? — спрашивает Давид.

— Зачем? Затем, что ты юн и невежествен. Ты освободишься от невежества, только если откроешься миру. А лучше всего открываться миру, читая то, что есть сказать другим людям — людям менее невежественным, чем ты.

— Я знаю о мире.

— Нет, не знаешь. Ты ничегошеньки не знаешь о мире за пределами твоего ограниченного жизненного опыта. Танцевать и пинать футбольный мяч — занятия сами по себе прекрасные, но они не дают тебе знаний о мире.

— Я читал «Дон Кихота».

— «Дон Кихот», повторяю, — не весь мир. Далеко не весь. «Дон Кихот» — выдумка о спятившем старике. Развлекательная книга, она втягивает тебя в свой вымысел, но вымысел — это не настоящее. Более того, задача этой книги — именно предупредить читателей вроде тебя, чтоб не втягивались в ненастоящий мир, в мир вымысла, как втянуло Дон Кихота. Ты разве не помнишь, чем заканчивается эта книга? Дон Кихот опомнился и велит своей племяннице сжечь его книги, чтобы в будущем никто не впал в искушение пойти его безумным путем?

— Но она не сжигает его книги.

*Дж. М. Кутзее*

— Сжигает! Этого, может, и не сказано, однако сжигает! Да ей в радость от них избавиться.

— Но она не сжигает «Дон Кихота».

— «Дон Кихота» она сжечь не может, потому что она внутри «Дон Кихота». Не получится сжечь книгу, если ты сам из нее, если ты — ее персонаж.

— Получится. Но она не сжигает. Потому что, если б сожгла, у меня бы не было «Дон Кихота». Он бы сгорел.

Из таких споров он, Симон, выходит обескураженным, но вместе с тем смутно гордым: обескураженным, потому что не удастся переспорить десятилетку; гордым — потому что десятилетке удастся с такой ловкостью вязать узлы из взрослого человека. *Этот ребенок, может, и ленив, этот ребенок, может, и высокомерен,* говорит Симон себе, *но этот ребенок во всяком случае не бестолков.*

## Глава 3

Иногда после ужина мальчик велит им обоим сесть на диван («Иди, Инес! Иди, Симон!») и разыгрывает перед ними то, что сам именует *un espectáculo* — спектакль. В такие минуты они по-семейному наиболее близки друг другу, а мальчик отчетливее всего выказывает свою к ним приязнь.

Песни, которые Давид поет в своих *espectáculos*, — с уроков, что он берет у сеньора Арройо. Многие — сочинения самого Арройо, в них он обращается к кому-то на *tú* — запросто, может быть, к покойной жене. Инес не считает, что эти песни годятся для детей, он, Симон, склонен разделять ее сомнение. Но все равно, размышляет он, то, что эти творения озвучивает такой чистый юный голос, как у Давида, наверняка поддерживает дух Арройо.

— Инес, Симон, хотите послушать таинственную песню? — говорит мальчик вечером после того, как их посетил Фабриканте. И с необычайным пылом и силой возвышает голос и запекает:

In diesem Wetter, in diesem Braus,  
nie hätt' ich gesendet das Kind hinaus —  
Ja, in diesem Wetter, in diesem Braus,  
durft'st Du nicht senden das Kind hinaus!<sup>1</sup>

— Это все? — спрашивает Инес. — Очень короткая песня.

— Я пел ее сегодня Хуану Себастьяну. Собирался спеть другую, но, когда открыл рот, получила она. Вам понятно, про что в ней поется?

Он повторяет песню медленно, тщательно проговаривая неведомые слова.

— Понятия не имею, что это значит. А что сеньор Арройо говорит?

— Он тоже не знает. Но сказал, что бояться не надо. Сказал, если я не пойму в этой жизни, значит, выясню в следующей.

— А ему не кажется, — спрашивает он, Симон, — что эта песня, возможно, не из будущей жизни, а из твоей предыдущей — из той жизни,

---

<sup>1</sup> В ненастье злое, с грозой и громом  
Не выгонял я дитя из дому  
Да, в непогоду, с грозой и громом,  
Нельзя ребенка погнать из дому! (нем.)

Парафраз первых строк песни австрийского композитора Густава Малера (1860—1911) на стихи немецкого поэта, переводчика и преподавателя иностранных языков Фридриха Рюкерта (1788—1866). — *Прим. пер.*

которая была у тебя, прежде чем ты взошел на борт большого корабля и переплыл океан?

Мальчик молчит. Тут разговор и заканчивается, а с ним — и *espectáculo*. Но назавтра, когда они с Давидом остаются одни, мальчик возвращается к разговору.

— Кто я был, Симон, до того, как переплыл океан? Кто я был до того, как начал говорить по-испански?

— Наверное, ты был тем же человеком, что и теперь, только выглядел иначе, у тебя было другое имя, и говорил ты на другом языке, но все это смыло, когда ты пересек океан, — вместе с твоими воспоминаниями. Тем не менее в ответ на вопрос «Кто я был?» я сказал бы, что в самом сердце своем, в сути, ты был собой — одним-единственным собой. Иначе какой смысл говорить, что *ты* забыл язык, на котором говорил, и так далее. Кто же тогда забыл, если не ты сам — тот сам, кого ты хранишь у себя в сердце? Вот как я это понимаю.

— Но я же не все забыл, да? *In diesem Wetter, in diesem Braus* — это я помню, не помню только, что оно значит.

— Вот именно. Или, может, как предполагает сеньор Арройо, эти слова всплывают у тебя не из прошлой жизни, а из будущей. В этом случае было бы неверно сказать, что эти слова — из *memoria*, из памяти, поскольку помнить можно только то, что из прошлого. Я бы

Дж. М. Кутзее

назвал твои слова *profecia* — провидение. Как будто ты вспоминаешь будущее.

— А ты как думаешь, Симон, это откуда — из прошлого или из будущего? Мне кажется, из будущего. Думаю, это из моей следующей жизни. А ты умеешь вспоминать будущее?

— Нет, увы, я совсем ничего не помню — ни из прошлого, ни из будущего. По сравнению с тобой, юный Давид, я очень скучный человек, совсем не исключительный, вернее даже — я противоположен всякой исключительности. Живу в настоящем, как буйвол. Это великий дар — уметь помнить хоть прошлое, хоть будущее, и, я уверен, сеньор Арройо со мной бы согласился. Тебе носить бы при себе блокнот и записывать, когда что-то вспоминаешь, даже если не улавливаешь смысла.

— Или можно рассказывать тебе, что я вспоминаю, — чтобы *ты* записывал.

— Хорошая мысль. Я мог бы стать твоим *secretario* — человеком, который записывает твои секреты. Сделали бы с тобой такую штуку — на двоих. Не ждать, пока тебе что-то придет в голову — таинственная песня, например, — а выделять несколько минут ежедневно, когда просыпаешься утром или напоследок перед сном, чтобы ты сосредоточивался и пытался вспомнить что-нибудь из прошлого или из будущего. Возьмемся?

Мальчик молчит.

## Глава 4

На той же неделе в пятницу Давид без всякого предисловия заявляет:

— Инес, завтра я собираюсь играть в настоящий футбол. Вы с Симоном обязательно приходите смотреть.

— Завтра? Я завтра не могу, мой дорогой. Суббота в магазине день хлопотный.

— Я буду играть в настоящей команде. Я буду номер 9. Мне надо надеть белую фуфайку. Ты обязана вырезать цифру 9 и нашить на спину фуфайки.

Одна за другой проступают подробности новой эпохи — эпохи настоящего футбола. В девять утра приедет фургон и подберет соседских мальчиков. Мальчики должны быть одеты в белые фуфайки с черными номерами на спинах, от одного до одиннадцати. Ровно в десять они под командным названием «Лас Пантерас» выбегут на поле и сыграют с «Лос Альконес» — командой из приюта.

— Кто составлял команду? — спрашивает он.

— Я.

— Ты, значит, капитан, вожак?

— Да.

— А кто назначил тебя капитаном?

— Все мальчики. Они хотят, чтобы я был капитаном. Я раздал им номера.

Наутро фургон из приюта приезжает вовремя, за рулем — неразговорчивый мужчина в синем комбинезоне. Не все мальчики готовы — приходится послать гонца, чтобы разбудить Карлитоса, он проспал, — и не все облачены в белые фуфайки с черными номерами на спине, как было велено, и уж точно не на всех настоящие футбольные бутсы. Но благодаря швейным навыкам Инес у Давида на фуфайке — изящная «9», и сам он весь до последнего дюйма смотрится капитаном.

Они с Инес провожают его, едут следом на машине: перспектива того, что ее сын поведет команду футболистов на поле, очевидно, важнее дел в магазине.

Приют располагается на другом берегу реки, в той части города, исследовать которую у него, Симона, никогда не находилось причин. Они едут за фургоном по мосту, через промышленный район, затем по узкой разбитой дороге между каким-то складом и лесопилкой и выкатываются на неожиданно приятный участок прибрежной полосы — к комплексу приземистых строений из песчаника в тени деревьев,

а при нем — спортивное поле, где болтаются детвора всех возрастов, облаченная в опрятные темно-синие форменные одежды приюта.

Дует пронизывающий ветер. Инес кутается в куртку с высоким воротником; он, Симон, менее предусмотрителен — на нем только свитер.

— Вон доктор Фабриканте, — говорит он, показывая пальцем, — человек в черной рубашке и шортах. Похоже, он будет судьей.

Доктор Фабриканте дует в свисток — одна властная нота за другой — и размахивает руками. Орава детей разбегается с поля, две команды выстраиваются у судьи за спиной, сироты — в безупречных темно-синих фуфайках, белых шортах, черных бутсах, мальчики из жилого квартала — в разноперых нарядах и обуви.

Его, Симона, поражает разница между командами. Дети в синем попросту гораздо крупнее. Среди них есть девочка — он узнает ее крепкие бедра и могучий бюст: Мария Пруденсия. Есть и мальчики, которые на вид уже не подростки. Гости по сравнению с ними выглядят плюгаво.

С самого начала игры юные *panteras* сдают назад, не желая связываться со своими более громоздкими противниками. Команда в синем немедленно прорывается вперед и забивает первый гол, а вскоре и второй.

Досадуя, он поворачивается к Инес.

— Это не футбол, это избивание младенцев!

Мяч падает у ног одного мальчика из команды Давида. Тот отчаянно пинает мяч вперед. Двое из их же команды бросаются следом, но мяч отнимает Мария Пруденсия, возвышается над ним — бросает вызов, пусть попробуют забрать. Мальчики замирают. Она презрительно пасует его вбок, кому-то из своей команды.

Тактика сирот проста, но действенна: отодвигая противников с дороги, они методично гонят мяч по полю, пока не протолкнут его мимо несчастного вратаря. Когда доктор Фабриканте объявляет свистком перерыв перед вторым таймом, счет 10:0. Дрожа на холодном ветру, дети из многоквартирника сбиваются в кучу и ждут возобновления бойни.

Доктор Фабриканте запускает игру вновь. Мяч отлетает от кого-то и катится к Давиду. С мячом в ногах он скользит, словно призрак, мимо первого противника, второго, третьего и загоняет гол.

Через минуту мяч снова пинают ему. Он с легкостью обходит защитников, но тут, вместо того чтобы ударить по воротам, он передает мяч напарнику по команде и смотрит, как тот навешивает его поверх перекладины.

Игра подходит к концу. Мальчики из многоквартирника уныло трусят прочь с поля, победителей же окружает ликующая толпа.

Доктор Фабриканте шагает к ним.

— Надеюсь, вам понравилась игра. Немного неравновесно получилось — приношу свои извинения за это. Но для наших детей важно утверждаться во внешнем мире. Важно для их самооценки.

— Наши мальчики — не то чтобы внешний мир, — отзывается он, Симон. — Это просто дети, которым нравится пинать мячик. Если вы вправду хотите испытать свою команду — играли бы с противником посильнее. Ты согласна, Инес?

Инес кивает.

Он, Симон, рассержен так, что его даже не заботит, обидится доктор Фабриканте или нет. Но нет — Фабриканте отмахивается от этой отповеди.

— Не все сводится к проигрышу или выигрышу, — говорит он. — Важно, что дети участвуют, стараются, изо всех сил показывают, на что они способны. Однако в некоторых случаях победа становится значимым фактором. Наш случай как раз такой. Почему? Потому что наши дети начинают в невыгодном положении. Им необходимо доказать себе самим, что они способны соперничать с внешними людьми — соперничать и брать верх. Наверняка же вы это понимаете.

Он, Симон, нисколько не понимает, но влезать в спор у него нет никакого желания. Доктор Фабриканте, *educador*, совсем не обаял его,

и он, Симон, надеется никогда больше его не видеть.

— Я насквозь промерз, — говорит он, — и, уверен, дети тоже. Куда девался водитель?

— Вот-вот придет, — говорит доктор Фабриканте. Умолкает, затем обращается к Инес: — Сеньора, можно потолковать с вами наедине?

Он, Симон, удаляется. Дети из приюта завладели полем и заняты своими разнообразными играми, на поверженных гостей внимания не обращают, а те жалко ждут, когда придет фургон и отвезет их домой.

Фургон приезжает, «Лас Пантерас» забираются внутрь. Уже собираются отъехать, и тут Инес решительно стучит в окно:

— Давид, ты поедешь с нами.

Давид неохотно вылезает из фургона.

— Мне нельзя поехать с остальными? — спрашивает он.

— Нет, — угрюмо отвечает Инес.

На обратном пути, в машине, обнаруживается причина ее дурного настроения.

— Это правда, — спрашивает она, — что ты сказал доктору Фабриканте, будто хочешь уйти из дома и поселиться в приюте?

— Да.

— Почему ты так сказал?

— Потому что я сирота. Потому что вы с Симоном ненастоящие мои родители.

— Ты так ему и сказал?

— Да.

Встревает он, Симон.

— Не втягивайся, Инес. Никто не воспримет истории Давида всерьез — и уж точно не человек, содержащий приют.

— Я хочу играть в их команде, — говорит мальчик.

— Ты собираешься уйти из дома ради футбола? Чтобы играть в футбол за приют? Потому что стыдишься своей команды, своих друзей? Ты это хочешь нам сказать?

— Доктор Хулио говорит, что мне можно играть за их команду. Но для этого надо быть сиротой. Такое правило.

— И ты, значит: «Ладно, я отрекусь от своих родителей и объявлю себя сиротой», — ради футбола?

— Нет, я такого не говорил. Я сказал: «Почему такое правило?» А он ответил: «Потому что».

— Так и сказал — «потому что»?

— Он сказал, что, если б не было правила, все бы хотели играть за их команду, потому что они очень хорошо играют.

— Они не хорошо играют, они просто большие и сильные. Что еще сказал доктор Фабриканте?

— Я сказал, что я — исключение. А он сказал, что если все — исключение, тогда правила недействительны. Он сказал, что жизнь —

как игра в футбол: нужно следовать правилам. Он — как вы. Ничего не понимает.

— Что ж, если доктор Фабриканте ничего не понимает, а его команда — всего лишь банда забияк, зачем тебе жить в его приюте? Только для того, чтобы играть за футбольную команду, которая выигрывает?

— А что плохого в выигрыше?

— Ничего плохого в выигрыше нет. Как нет ничего плохого и в проигрыше. Более того, обычно, я бы сказал, лучше оказаться среди проигравших, чем среди тех, кто желает выигрывать любой ценой.

— Я хочу выигрывать. Хочу выигрывать любой ценой.

— Ты ребенок. У тебя жизненный опыт ограничен. Ты не имел возможности увидеть, что происходит с людьми, которые пытаются выиграть любой ценой. Они превращаются в забияк и самодуров — почти все.

— Это несправедливо! Когда я говорю такое, что тебе не нравится, ты отвечаешь, что я ребенок, а значит, то, что я говорю, не считается. Считается, только если я с тобой соглашусь. Почему я должен все время с тобой соглашаться? Я не хочу разговаривать, как ты, и я не хочу быть таким, как ты! Я хочу быть тем, кем я хочу быть!

Что кроется за этим выплеском? Что Фабриканте наговорил мальчику? Он, Симон, пыта-

ется перехватить взгляд Инес, но та упорно смотрит на дорогу.

— Мы все еще ждем, когда ты расскажешь, — говорит он, — почему, если не считать футбола, ты хочешь уйти в приют?

— Ты меня никогда не слушаешь, — говорит мальчик. — Ты не слушаешь, вот и не понимаешь. Нет никакого «почему».

— То есть доктор Фабриканте ничего не понимает, и я ничего не понимаю и нет никакого «почему». Кто же, помимо тебя, понимает? Инес понимает? Ты понимаешь, Инес?

Инес не отвечает. На выручку ему она не придет.

— По моему мнению, молодой человек, это как раз ты не понимаешь, — напирает он. — Ты до сих пор жил очень легкой жизнью. Мы с твоей матерью потакаем тебе так, как не потакают ни одному нормальному ребенку, потому что признаем, что ты исключительный. Но я начинаю задумываться, понимаешь ли ты сам, что значит быть исключительным. Вопреки твоим предположениям это не означает, что ты волен вести себя как нравится. Это не означает, что тебе можно пренебрегать правилами. Ты любишь играть в футбол, но, если пренебрежешь правилами футбола, судья отправит тебя вон с поля — и поделом. Никто не превышает закона. Нет такого понятия, как исключение из всех правил. Исключение без исключе-

ний — противоречие в понятиях. Оно лишено смысла.

— Я рассказал доктору Хулио о вас с Инес. Он знает, что мне вы не настоящие родители.

— Не важно, что ты там сказал доктору Хулио. Доктор Хулио не может забрать тебя у нас. У него нет такой власти.

— Он говорит, что, если люди делают со мной что-то плохое, он может предоставить мне прибежище. Плохое — это исключение. Если люди делают тебе что-то плохое, ты можешь найти прибежище в приюте независимо от того, кто ты.

— Что ты имеешь в виду? — спрашивает Инес, впервые заговаривая. — Кто тебе делает что-то плохое?

— Доктор Хулио говорит, что его приют — остров прибежища. Любой, кто стал жертвой, может прийти туда, и доктор Хулио его защитит.

— Кто делает тебе что-то плохое? — не отступается Инес.

Мальчик молчит.

Инес жмет на тормоза, останавливается на обочине.

— Отвечай, Давид, — говорит она. — Ты сказал доктору Хулио, что мы тебе делаем что-то плохое?

— Я не обязан говорить. Если ты ребенок, ты не обязан говорить.

Заговаривает он, Симон.

— Я запутался. Ты говорил или не говорил доктору Хулио, что мы с Инес делаем тебе что-то плохое?

— Я не обязан говорить.

— Не понимаю. Ты не обязан говорить мне или ты не обязан говорить доктору Хулио?

— Я не обязан говорить никому. Я могу прийти в приют, и мне дадут прибежище. Я не обязан говорить почему. Такая у доктора Хулио философия. Нет никакого «почему».

— Философия! Ты знаешь, что эти слова означают — *cosas malas*, «что-то плохое», какие последствия влекут за собой, — или ты просто подбираешь их, как камни, и кидаешься ими, чтобы другим было больно?

— Тут незачем говорить. Ты сам все знаешь. Вновь встречается Инес.

— Что Симон сам знает, Давид? Симон тебе что-то делал?

Ему словно отвесили оплеуху. Вдруг между ним и Инес разверзается пропасть.

— Разворачивай машину, Инес, — говорит он. — Нам необходимо прижать этого человека к стенке. Нельзя позволять ему лить яд ребенка в уши.

Инес говорит:

— Отвечай мне, Давид. Это серьезно. Делал тебе Симон что-то?

— Нет.

— Нет? Он тебе ничего не делал? Тогда почему ты выдвигаешь такие обвинения?

— Я не буду объяснять. Ребенок не обязан объяснять. Вы хотите, чтобы я следовал правилам. Вот такое правило.

— Если Симон выйдет из машины, ты мне скажешь?

Мальчик не отвечает. Он, Симон, выходит из машины. Они доехали до моста, соединяющего юго-восточный квартал города с юго-западным. Опирается на парапет над рекой. Одинокая цапля, устроившаяся на камне внизу, не обращает на него, Симона, внимания. Ну и утро! Сперва эта пародия на футбольный матч, а теперь эти безрассудные, сокрушительные обвинения от ребенка. *Тут незачем говорить, что ты делал. Ты сам знаешь.* Что он делал? Он ни разу не коснулся этого ребенка нечистым пальцем, ни единой нечистой мысли в голове не имел.

Он стучит в машину. Инес опускает стекло.

— Давай вернемся в приют? — говорит он. — Мне надо потолковать с этим гнусным человеком.

— У нас с Давидом тут разговорчик, — отвечает Инес. — Я тебе сообщу, когда мы закончим.

Цапля улетела. Он спускается к урезу воды, склоняет колени, пьет.

Тут сверху, с моста, машет рукой и кричит Давид:

— Симон! Ты что делаешь?

— Пью воду. — Взбирается обратно. — Давид, — говорит он, — ты же наверняка понимаешь, что это неправда. Как ты вообще можешь допустить, что я способен хоть как-то тебе навредить?

— Чтобы что-то было правдой, необязательно, чтоб оно было правдой. Ты твердишь одно и то же: *это правда? Это правда?* Поэтому тебе и не нравится Дон Кихот. Ты считаешь, что это неправда.

— Мне нравится Дон Кихот. Он мне нравится, пусть даже он — неправда. Мне он просто нравится не в точности так же, как тебе. Но какое отношение имеет Дон Кихот ко всему этому — ко всей этой дребедени?

Мальчик не отвечает, но бросает на него веселый наглый взгляд.

Он, Симон, возвращается в машину и обращается к Инес изо всех сил спокойно:

— Прежде чем ты сделаешь что-нибудь опрометчивое, осмысли то, что услышала. Давид говорит, что, поскольку он ребенок, ему незачем следовать тем же стандартам правдивости, какие есть у других. Поэтому он волен выдумывать — обо мне, о ком угодно на свете. Подумай об этом. Подумай об этом и остерегись. Завтра он выдумает что-нибудь про тебя.

Инес смотрит прямо перед собой

*Дж. М. Кутзее*

— Что ты хочешь от меня? — спрашивает она. — Я потратила целое утро на футбольном матче. У меня есть дела в магазине. Давиду нужна горячая ванна, его надо переодеть в чистое. Если хочешь, чтобы я отвезла тебя в приют и ты поквитался с доктором Фабриканте, — так и скажи. Но в этом случае домой тебе придется возвращаться самостоятельно. Ждать я не буду. Говори, чего ты хочешь.

Он осмысляет.

— Поехали домой, — говорит он. — Навещу доктора Фабриканте в понедельник.

## Глава 5

В понедельник он первым делом звонит в приют и назначает встречу с директором. Поскольку машину заняла Инес, ему приходится ехать на громоздком служебном велосипеде, занимает это почти час, а затем прохладиться в приемной у Фабриканте под взорами устрашающей секретарши-вахтерши.

Наконец его приглашают в кабинет директора. Фабриканте жмет ему руку, предлагает стул. В солнечном свете, льющемся в окно, проступают гусиные лапки морщин у глаз Фабриканте; волосы, гладко зачесанные назад, до того беспросветно черны, что запросто могут быть крашеными. Тем не менее сам он поджар и излучает ощутимую энергию.

— Спасибо, что побывали на игре, — начинает он. — Наши дети не привыкли к зрителям. По сути, все сложилось так, что у них нет семей, которые бы за них болели. А теперь вы, несомненно, хотели бы знать, как получается, что юный Давид желает к нам присоединиться.

— На самом деле, сеньор Хулио, — отзывается он, держа себя в руках, — я здесь не только поэтому. Я здесь для того, чтобы разобраться с обвинением, выдвинутым лично мне, — обвинением, к которому вы наверняка приложили руку. Вы обязаны понимать, что я имею в виду.

Доктор Фабриканте откидывается, складывает руки под подбородком.

— Простите, что дошло до такого, сеньор Симон. Но Давид — не первый ребенок, прибегающий к моей защите, а вы — не первый взрослый мужчина, с которым мне приходится иметь дело в моей роли заступника. Давайте же, выкладывайте.

— Когда вы появились в парке на днях, вы сделали вид, будто смотрите игру. По правде же вы искали новобранцев в этот ваш приют. Вы искали впечатлительных детей вроде Давида, кого легко втянуть в романтику сиротства.

— Это вздор. И нет в сиротстве никакой романтики. Вовсе никакой. Но продолжайте.

— Под романтикой я подразумеваю то — и некоторых детей это зачаровывает, — что их родители ненастоящие родители им, что их истинные родители цари и царицы, или цыгане, или цирковые акробаты. Вы выискиваете уязвимых детей и скармливаете им подобные истории. Вы говорите им, что, если они отрекутся от своих родителей и сбегут из дома, вы

их примете. Зачем? Зачем распространять подобные ранящие враки? Давида никогда не обижали. Он и слова-то такого не знал, пока не появились вы.

— Чтобы пострадать от увечья, слово знать не обязательно, — говорит доктор Фабриканте. — Можно умереть, не зная имени того, что вас убило. Грудная жаба. Белладонна.

Он, Симон, встает.

— Я пришел сюда не дискуссии ради. Я пришел сказать вам, что Давида вы у нас не забереете. Я буду бороться с вами на каждом шагу — и мать мальчика тоже.

Доктор Фабриканте тоже встает.

— Сеньор Симон, вы не первый человек, кто приходит сюда и угрожает мне, — и не последний. Но есть определенные обязательства, возложенные на меня обществом, и первое из них — предоставлять прибежище детям, обиженным и заброшенным. Вы говорите, что станете бороться, чтобы удержать Давида. Но — поправьте меня, если я неправ, — вы не природный отец Давида, а ваша жена — не природная мать ему. В таком случае ваше положение в глазах закона шатко. Засим умолкаю.

После гибели три года назад Аны Магдалены, второй жены сеньора Арройо, и последовавшего скандала Академия претерпела тяже-

лые времена. Половину учеников забрали родители, персоналу стало не из чего платить. Он, Симон, оказался среди той горстки благорасположенных, кто поддержал сеньора Арройо, пока тот сражался за спасение своего корабля.

Если верить сплетням, какие доходят до него через Инес и ее сотрудниц в «Модас Модернас», Академия сумела пережить бурю и в новом формате школы музыки даже начала процветать. Ученическое ядро, в основном из провинциальных городов, живет на территории школы и обучается там. Но в основном ученики Академии — из государственных школ Эстреллы, они посещают только занятия музыкой. Музыкальную теорию и композицию преподает сам Арройо, на уроки вокала и различных инструментов приглашает профильных учителей. Занятия танцами есть по-прежнему, однако танец теперь уже — не ключевая миссия Академии.

К музыкальному дару Арройо у него, Симона, глубочайшее уважение. Если Арройо мало ценят в Эстрелле, это потому, что Эстрелла — сонный провинциальный город со скудной культурной жизнью. Арройоскую же философию музыки с опорой на возвышенную математику и отношением к музыке, созданной человеческими руками, как — в лучшем случае — к призрачному отзвуку музыки сфер, он,

Симон, так и не смог постичь. Но это по крайней мере связная философия, и Давид от нее никак не пострадал.

От доктора Фабриканте и его приюта он отправляется напрямик в Академию, в покои Арройо. Арройо принимает его с привычной учтивостью, предлагает кофе.

— Хуан Себастьян, буду краток, — говорит он. — Давид уведомляет нас, что желает покинуть дом. Он решил, что ему место среди сирот мира сего — слово *huérfano* ему всегда нравилось. В этой романтической чепухе его поддерживает некий доктор Хулио Фабриканте, именующий себя просветителем и содержащий приют на восточном краю города. Вы, случайно, не знакомы с ним?

— Я о нем наслышан. Он поборник практического образования, враг книжного обучения, он его открыто осуждает. У него в приюте есть школа, детей там учат начаткам чтения, письма и арифметики, после чего растят из них плотников, слесарей или булочников — в таком вот духе. Что еще? Он силен в дисциплине, воспитании характера, в командных видах спорта. В приюте есть хор, занимающий призовые места на конкурсах. У самого Фабриканте имеются приверженцы в городском совете. Они считают его человеком перспективным, человеком будущего. Но сам я с ним не знаком.

— В общем, доктор Фабриканте залучил Давида, пообещав ему место в приютской футбольной команде. Перехожу к сути дела. Если Давид уйдет из дома и поселится в приюте у Фабриканте, ему придется оставить занятия в Академии. Слишком далеко ездить туда-обратно каждый день, и вряд ли Фабриканте ему позволит.

Арройо вскидывает руку, останавливая его.

— Прежде чем вы продолжите, Симон, разрешите признаться. Я хорошо осведомлен о тяге вашего сына к сиротству. Более того, он, хоть и не впрямую, попросил меня поговорить с вами об этом. Он утверждает, что вы не способны или не желаете понимать.

— Я добровольно признаюсь в проступке непонимания. Помимо тяги к сиротству многое из того, что связано с Давидом, мне невнятно. Для начала невнятно мне, почему ребенка, столь трудного для понимания, доверили опекуну со столь слабыми способностями к пониманию. Я говорю о себе, но позвольте сразу же добавить, что Инес сбита с толку не меньше моего. Давиду было бы лучше, останься он со своими природными родителями. Но у него нет природных родителей. У него есть только мы, уж какие есть ущербные: назначенные родители.

— Вы считаете, что его природные родители поняли бы его лучше?

— По крайней мере, они были б из той же материи, что и он, одной с ним крови. Мы с Инес — обычные люди, из самой своей глубины мы полагаемся на узы любви, тогда как одной любви, очевидно, недостаточно.

— То есть, будь вы с Давидом одной крови, вам бы оказалось проще понять, почему он хочет уйти из дома и жить среди сирот на восточном краю города, — вы это хотите сказать?

Арройо потешается над ним, что ли?

— Я полностью осознаю, — сухо отвечает он, Симон, — что требовать от ребенка взаимной любви к родителю несправедливо. Осознаю я и то, что для ребенка по мере его взросления лоно семьи может со временем показаться удушающим. Но Давиду десять лет. Для десятилетки желание покинуть дом необычно. Возраст и юный, и уязвимый. Мне не нравится доктор Фабриканте. Я ему не доверяю. Он нашептал Давиду на меня нечто такое, что я не могу заставить себя повторить. Я не считаю, что для нравственного развития ребенка это подходящий человек. Не считаю я, и что приютские дети станут Давиду хорошими товарищами. Я видел, как они играют в футбол. Они забияки. Они выигрывают, запугивая противника. Те, что помладше, обезьянничают со старших, и доктор Фабриканте никак их не одергивает.

— То есть вы не доверяете доктору Фабриканте и опасаетесь, что его сироты превратят Давида в забияку и дикаря. Но задумайтесь: а что, если произойдет обратное? Что, если Давид укротит дикарей Фабриканте, превратит их в образцовых граждан — обходительных, учтивых, послушных?

— Не смейтесь надо мной, Хуан Себастьян. Там пятнадцати- и шестнадцатилетние дети, мальчики и девочки, а может, и постарше. Не будут они слушаться десятилетку. Они будут им помыкать. Испортят его.

— Ну, вы знаете этот приют лучше, чем я, — сам-то я там ни разу не был. Похоже, тут мой предел полезности вам, Симон. Посоветовать могу только одно: сядьте с Давидом, обсудите обстоятельства, в которых оказались, не исключая и собственного положения — покинутого отца, преисполненного печали, растерянности, а возможно, и гнева.

Он встает, но Арройо останавливает его.

— Симон, позвольте мне сказать еще одно, последнее слово. У вашего сына есть чувство долга, обязательства, что для десятилетки необычно. Отчасти и это делает его исключительным. Его резон, почему он хочет жить в приюте, — не из романтического представления о сиротстве. В этом смысле вы заблуждаетесь. По некой причине — а возможно, без всякой причины — он чувствует

себя в долгу перед сиротами Фабриканте, перед сиротами вообще, сиротами этого мира. Ну или во всяком случае он так говорит мне, и я ему верю.

— Он вам это говорит. Почему же он не говорит этого мне?

— Потому что, справедливо или нет, он считает, что вы не поймете. Не посочувствуете.

## Глава 6

Приходит время ужина, а от Давида ни слуху ни духу. Он, Симон, собирается идти искать заблудшую овечку, но та вдруг появляется. Ботинки облеплены грязью, грязь на одежде, рубашка порвана.

— Что случилось? — спрашивает Инес. — Мы все изволновались.

— У меня велосипед сломался, — говорит мальчик. — Пришлось идти пешком.

— Прими ванну и надень пижаму, а я пока разогрею тебе ужин в духовке.

За ужином они пытаются вытянуть из него еще что-нибудь. Но мальчик жадно ест, отказывается говорить, а затем уходит к себе в комнату и захлопывает дверь.

— Что ему так испортило настроение? — вполголоса спрашивает он, Симон, у Инес.

Та пожимает плечами.

Наутро он заглядывает в сарай — осмотреть поломанный велосипед, но велосипеда там нет. Он стучит в дверь к Инес.

— Давидов велосипед пропал, — говорит он.

— Его одежда пахнет сигаретным дымом, — говорит Инес. — Ему десять лет, а он курит. Мне это все нисколько не нравится. Сейчас мне пора. Когда он проснется, я хочу, чтоб ты с ним побеседовал.

Он осторожно открывает дверь в комнату мальчика. Распластавшись на кровати, мальчик спит мертвым сном. В волосах запеклась глина, под ногтями грязь. Он, Симон, берет мальчика за плечи, легонько трясет его.

— Пора вставать, — шепчет он. Мальчик бормочет сквозь сон, отворачивается.

Он, Симон, обнюхивает брошенную в ванной одежду. Инес права: одежда смердит дымом.

Переваливает за десять, когда мальчик появляется из комнаты, трет глаза.

— Ты можешь объяснить, что вчера произошло? — спрашивает он, Симон. — Начни с того, где твой велосипед.

— Колесо погнулось, я не смог на нем ехать.

— Где велосипед?

— В приюте.

Так, шаг за шагом, история обретает очертания. Давид поехал в приют поиграть в футбол. В приюте кто-то из старших мальчиков конфисковал велосипед и, заехав в канаву, сломал переднее колесо. Давид бросил велосипед и впотьмах пошел домой пешком.

— Ты поехал играть в футбол, кто-то сломал тебе велосипед, и ты возвращался домой пешком. Это всё? Давид, ты никогда нам не врал. Прошу тебя, и не начинай. Ты курил. Мы с Инес уловили запах от твоей одежды.

Возникают новые подробности. После футбола дети из приюта развели костер и жарили на нем выловленных в реке лягушек и рыбу. Старшие — и мальчики и девочки — курили сигареты и пили вино. Он, Давид, не курил и не пил. Вино ему не понравилось.

— Ты считаешь, это хорошо, если десятилетний ребенок общается с мальчиками и девочками гораздо старше себя, которые курят, пьют и невесть чем еще занимаются?

— Чем это невесть чем они занимаются?

— Не важно. Твои здешние друзья, соседские, тебя не устраивают? Зачем тебе в приют?

До этого вопроса Давид отвечает вполне послушно. Но тут взбрыкивает.

— Ты ненавидишь сирот! Ты считаешь, что они плохие! Ты хочешь, чтобы я был таким, какой я *по-твоему*, ты не хочешь, чтобы я был таким, какой я есть *по-моему*.

— И кто же ты есть *по-твоему*?

— Я тот, кто я есть!

— Ты тот, кто ты есть, пока мальчик постарше не забирает у тебя велосипед. И тогда ты просто беззащитный десятилетка. Я никогда не говорил, что дети из приюта плохие. Нет

такого понятия, как плохой ребенок. Дети все равны — более-менее. Во всем, кроме возраста. Десятилетний мальчик не равен шестнадцатилетнему из приюта, где правила настолько вольные, что дети невозбранно курят и пьют.

— Невозбранно — это как?

— Им никто не запрещает. Им не запрещает доктор Хулио.

— Ты ненавидишь доктора Хулио.

— Я не ненавижу доктора Хулио, однако он мне и не нравится. Мне он кажется высокомерным и чванным. И я не считаю его хорошим просветителем. По-моему, у него есть свои причины, почему он хочет втянуть тебя к себе в приют, — причины, которые тебе не видны, потому что у тебя в этом мире слишком мало опыта.

— Тебе не нравился Дмитрий, и ты не любишь доктора Хулио! Тебе не нравится никто, у кого большое сердце!

Дмитрий! Он думал, что мальчик забыл Дмитрия, это чудовище, — Дмитрий задушил сеньору Арройо, был объявлен сумасшедшим и с тех пор сидит под замком.

— Не было у Дмитрия большого сердца, Давид, — нисколько. Дмитрий был насквозь скверный человек с чернейшим сердцем. Что же касается доктора Хулио, то для меня совершеннейшая загадка, по какой причине ты к нему тянешься.

— У меня нет причин, и я не тянусь к доктору Хулио. У меня ни для чего нет причин. Это ты человек с причинами.

Он встает из-за стола. Ох уж до чего нередко происходит у них этот спор — у них с мальчиком. Его, Симона, воротит от этого.

— Мы с твоей матерью решили, что ты больше не будешь посещать приют доктора Фабриканте. Вот тебе и весь сказ.

Когда Инес возвращается домой, он отчитывается перед ней.

— Я побеседовал с Давидом. Он говорит, что был со старшими детьми и курили как раз дети. Сам он не курил. Я ему верю. Но сказал ему, что больше никаких посещений приюта.

Инес рассеянно качает головой.

— Ему надо было с самого начала идти в нормальную школу. Тогда никаких дел с приютом и не возникло бы.

Нормальная школа, в которую надо было отдать Давида: еще один спор, в котором он, Симон, участвовал столько раз, что сбился со счета. Они с Инес пятый год вместе — достаточно долго, уже успеешь надоесть друг дружке. Будь у него выбор, Инес не стала бы его женщиной, и сам он — не из тех, кого бы выбрала Инес, если б интересовалась мужчинами. Но она в некотором смысле мальчику мать, в таком же некотором смысле он мальчику отец, а значит,

они с Инес в некотором смысле не могут расстаться.

Мальчик же юн и непоседлив. Немудрено, что в обыденности квартала ему нейдет, вряд ли удивительно, что он готов покинуть дом, покинуть родителей и погрузиться с головой в экзотическую новую жизнь сироты.

Как им с Инес вести себя: запретить всякие связи с приютом или отпустить мальчика на все четыре стороны — пусть вылетает из гнезда, ищет приключений — в надежде, что он рано или поздно вернется разочарованный? Он, Симон, склонен ко второму варианту, но удастся ли уговорить Инес отпустить сына?

Его будит настойчивый стук в дверь. Время половина седьмого, солнце еще не встало.

Это мужчина в синем комбинезоне, водитель из приюта.

— Доброе утро, я приехал забрать паренька.

— Давида? Вы приехали забрать Давида?

С лестницы доносится грохот, и появляется сам Давид, за спиной рюкзак, волочет за собой здоровенную сумку Инес, с которой она ходит за продуктами.

— Что происходит? — спрашивает он, Симон.

— Я уезжаю в приют.

Появляется Инес в ночной сорочке, волосы растрепаны.

— Зачем здесь этот человек? — спрашивает она.

— Я уезжаю в приют, — повторяет мальчик.

— Ничего подобного!

Она пытается отнять у него сумку, он тянет на себя.

— Отстань от меня, не трогай меня! — кричит он. — Ты мне не мать!

Он, Симон, обращается к водителю:

— Вам лучше уехать. Тут какое-то недоразумение. Давид в приют не поедет.

— Поеду! — орет мальчик. — Ты мне не отец! Ты не можешь мне приказывать!

— Уезжайте! — повторяет он, Симон, водителю. — Мы разберемся с этим сами.

Водитель пожимает плечами и уходит.

— А теперь пойдем наверх и спокойно все обсудим, — говорит он, Симон.

Мальчик с каменным лицом отдает сумку. Они втроем поднимаются по лестнице в квартиру Инес, где мальчик удаляется к себе в комнату и захлопывает за собой дверь.

Инес вытряхивает содержимое сумки на пол: одежда, обувь, «Дон Кихот», две пачки печенья, банка персиков и консервный нож.

— Что будем делать? — спрашивает он. — Мы не можем держать его в плену.

— Ты на чьей стороне? — спрашивает Инес.

— Я на твоей стороне. Мы с тобой заодно.

— Тогда ищи решение.

*Мы не можем держать его в плену.* Тем не менее Инес отправляется на работу, а он усаживается на диван, стережет.

Закрывает глаза. Когда открывает их, дверь в комнату мальчика открыта, а мальчика нет.

Он звонит Инес.

— Я заснул, и Давид сбежал, — говорит он. — Как ни жаль.

— Ты дал ему сбежать и тебе жаль? Ты вечно сожалеешь. Жалкий ты человек. Сожалеть недостаточно, Симон. Верни его.

— Не собираюсь я этого делать, Инес. Без толку. Он все решил. Пусть попробует, каково это — жить в приюте. Когда усвоит урок, сам вернется.

Долгое молчание.

— Сам виноват, от начала и до конца, — говорит наконец Инес. — Ты привадил этого человека, Фабриканте. Сам оказался слишком слаб и не отстоял ребенка, сам вечно потакаешь ему и балуешь его. Если откажешься его вернуть и заниматься этим придется мне, между нами все кончено. Ты меня понял?

— Я понимаю, что ты говоришь. Понимаю, что ты расстроена. Но я не согласен с тобой насчет Давида. Думаю, в этом случае нам следует его отпустить.

— Тогда это на твоей совести.

## Глава 7

Наступает суббота, и он отправляется на велосипеде в приют — к началу футбольного матча. Но территория приюта безлюдна.

В комнате отдыха он обнаруживает трех девочек — они играют в настольный теннис.

— Футбола сегодня не будет? — спрашивает он.

— Они играют на выезде, — отвечает одна.

— Вы не знаете где?

Она качает головой.

— Нам футбол не нравится.

— Вы знаете мальчика по имени Давид? Он в приюте недавно.

Девочки переглядываются, хихикают.

— Да, знаем.

— Я оставлю записку — если можно, передайте ему, когда он вернется. Сможете?

— Да.

На клочке бумаги он пишет: *Я заехал сегодня, надеясь посмотреть на твою команду в действии, но безуспешно. Попробую еще раз*

*в следующую субботу. Сообщи, пожалуйста, не нужно ли тебе что-нибудь из дома. Инес передает тебе приветы от всего сердца. Боливар по тебе скучает. Любящий тебя Симон.*

Действительно ли Инес шлет приветы от всего сердца, он не знает. С тех пор как мальчик ушел, она неизменно в холодной ярости и отказывается разговаривать.

Дни идут медленно. Он много танцует один у себя в квартире. Это возвышает его до приятного состояния без всяких мыслей, а когда он устает, у него получается уснуть. *Полезно для сердца, полезно душе*, — говорит он себе, проваливаясь во тьму. — *Уж точно лучше, чем пить.*

Вечера, порожные вечера — вот что хуже всего. Он выводит собаку на прогулку, но обходит стороной футбольные игры в парке и уклоняется от пытливых вопросов мальчиков (*Что случилось с Давидом? Когда он вернется?*). Боливар делается слишком стар и гулять подолгу не может, а потому они сидят, устроившись в маленьком саду камней за углом, дремлют, убивают время.

*Теперь, когда нет Давида*, — размышляет он, — *нашу маленькую семью только Боливар и удерживает вместе. Вот во что мы с Инес превратились — в родителей пожилого пса?*

Наступает суббота. Он вновь отправляется на велосипеде в приют. Футбольный матч уже начался. Сироты играют против команды

в черно-белых полосатых фуфайках, та команда очевидно умелее и тренированнее, чем ватага несмышленишей из многоквартирника. Он, Симон, вливается в группу взрослых, наблюдающих из-за боковых линий, и тут трое черно-белых выполняют ловкую перепасовку, защитники остаются не у дел и едва не случается гол.

Давид играет на дальнем фланге — он здорово смотрится в синей фуфайке с номером «9» на спине.

— С кем играем? — спрашивает он, Симон, у молодого человека рядом.

Молодой человек смотрит на него странно.

— С «Лос Альконес», командой из приюта.

— А счет какой?

— Никакого пока.

Черно-белые мастерски владеют мячом. Приютских детей то и дело обходят и оставляют с носом. Происходит гадкий случай: кого-то из черно-белых сбивают с ног, он падает плашмя. Доктор Фабриканте, судья матча, сурово отчитывает обидчика.

Незадолго до перерыва между таймами черно-белый форвард выманивает вратаря, а затем ловко забивает гол поверх вратарской головы.

На перерыве доктор Фабриканте собирает сирот посередине поля и со всей очевидностью наставляет их, какой стратегии придерживаться во втором тайме. Ему, Симону, кажется странным, что судья выступает в роли тренера од-

ной из команд, но остальные вокруг вроде бы не обращают внимания.

Во втором тайме Давид играет на той стороне поля, где стоит Симон. Ему отчетливо видно, что происходит, когда один-единственный раз мяч оказывается у мальчика, а вокруг свободно. С легкостью он летит мимо одного защитника, мимо второго. Но затем, когда путь к голу открыт, он спотыкается о собственные ноги и падает ничком. Среди зрителей пробегает рябь хохотков.

Игра завершается победой черно-белых. «Лос Альконес» понуро бредут с поля.

Он, Симон, догоняет Давида, когда тот едва не ныряет в раздевалку.

— Хорошо сыграл, мой мальчик, — говорит он. — Не хочешь ли что-нибудь передать матери? Она, понимаешь, расстроена, что ты не возвращаешься домой.

Давид поворачивается к нему с улыбкой, которую можно назвать только доброй.

— Спасибо, что пришел, Симон, но больше тебе сюда нельзя. Ты обязан дать мне делать то, что я должен.

## Глава 8

В приюте его больше всего изумляет школа. Зачем доктор Фабриканте держит отдельную школу, когда запросто мог бы отправлять своих подопечных учиться в обычные? В приюте не больше двухсот детей. Нет смысла и привлекать учителей вести уроки, если учеников так мало, некоторым всего пять лет, а некоторые почти доросли до самостоятельной жизни, — то есть нет смысла, если Фабриканте не желает своим сиротам образования, радикально отличного от того, какое предлагают государственные школы. Арройо назвал Фабриканте противником книжного обучения. А если он окажется и противником «Дон Кихота»? Согласится ли Давид на подготовку к жизни без приключений — к жизни сантехника?

Без всяких вестей из приюта проходят недели. Наконец, доведенная до отчаяния его бездействием, Инес стучит в дверь.

— Все это слишком затянулось, — объявляет она. — Я еду в приют за Давидом. Ты со мной или против меня?

— С тобой, как всегда, — отвечает он.

— Тогда поехали.

Подсказать им некому, и школьные классы они ищут довольно долго, а расположены они — как в конце концов выясняется — в отдельном стоящем здании, вдоль длинного прохода под открытым небом. В каком классе занимается Давид? Он, Симон, стучит в первую попавшуюся дверь, входит. Учительница, молодая женщина, умолкает на полуслове и впряется в них.

— Да? — произносит она.

Среди опрятно и тихо сидящих детей Давида нет.

— Приношу извинения, — говорит он. — Ошибся дверью.

Они стучат во вторую дверь, входят вроде бы в мастерскую — здесь длинные лавки вместо парт, а по стенам развешаны инструменты для работы по дереву. Дети — сплошь мальчишки — отрываются от своих заданий и глядят на вторгшихся посторонних. Вперед выступает человек в комбинезоне — очевидно, учитель.

— Позвольте узнать, вы по какому делу? — спрашивает он.

— Простите, что помешали. Мы ищем мальчика по имени Давид, он недавно у вас.

— Мы его родители, — говорит Инес. — Мы приехали забрать его домой.

— Это «Лас Манос», сеньора, — отзывается учитель. — Тут ни у кого нет родителей.

— Давиду не место в «Лас Манос», — говорит Инес. — Ему место дома, с нами. Скажите мне, где я могу его найти.

Учитель пожимает плечами и поворачивается к ним спиной.

— Он в классе у сеньоры Габриэлы, — подает голос кто-то из детей. — Последний кабинет по этой стороне.

— Спасибо, — говорит Инес.

На этот раз дверь открывает Инес, опередив его, Симона. Давида они видят сразу — он посередине первого ряда, одет в темно-синюю блузу, как и все остальные дети. Никакого удивления он, увидев их, не выказывает.

— Пойдем, Давид, — говорит Инес. — Пора попрощаться с этим местом. Пора домой.

Давид качает головой. По классу пробегает шепоток.

Заговаривает учительница, сеньора Габриэла, — женщина средних лет.

— Прошу вас немедленно покинуть мой класс, — говорит она. — Если вы не уйдете, мне придется вызвать директора.

— Вызывайте своего директора, — говорит Инес. — Я желаю сказать ему в лицо, что я о нем думаю. Идем, Давид!

— Нет, — говорит мальчик.

— Объясни мне, Давид, кто эти люди? — спрашивает сеньора Габриэла.

— Я их не знаю, — говорит мальчик.

— Это чушь, — говорит Инес. — Мы его родители. Делай, что тебе говорят, Давид. Снимай эту уродливую форму и идем.

Мальчик не шевелится. Инес хватается за руку и вздергивает на ноги.

Он с яростью вырывается.

— Не трогайте меня, женщина! — кричит он, пылая гневом.

— Не смей так со мной разговаривать! — говорит Инес. — Я твоя мать!

— Нет! Я не ваш ребенок! Я ничей ребенок! Я сирота!

Встревает сеньора Габриэла.

— Сеньора, сеньора, хватит! Прошу вас, немедленно уходите. От вас и так уже много беспорядка. Давид, сядь, возьми себя в руки. Дети, вернитесь на свои места.

Больше тут ничего не добьешься.

— Идем, Инес, — шепчет он, Симон, и выводит ее из класса.

После их бесславной попытки забрать мальчика Инес объявляет, что она больше не желает иметь ничего общего с ними обоими — и с Давидом, и с Симоном.

— Отныне я буду вести собственную жизнь. Он молча склоняет голову и удаляется.

Проходит время. И вот как-то рано поутру в дверь к нему, Симону, стучат. Это Инес.

— Мне позвонили из приюта. Что-то стряслось с Давидом. Он в лазарете. Хотят, чтобы мы его забрали. Ты со мной? Если нет, я поеду одна.

— Я с тобой.

Лазарет расположен вдали от основных зданий. Они заходят и обнаруживают, что Давид сидит в кресле-каталке у двери, полностью одетый, на коленях у него рюкзак, сам он бледен и напряжен. Инес целует его в лоб, Давид принимает этот поцелуй отрешенно. Он, Симон, пытается обнять его, но мальчик отмахивается.

— Что с тобой стряслось? — спрашивает Инес.

Мальчик молчит.

Возникает медсестра.

— Добрый день, вы, надо полагать, опекуны Давида, о которых он столько говорит. Я сестра Луиса. Давиду пришлось нелегко, но он был молодцом, правда, Давид?

Мальчик не обращает на нее внимания.

— Что тут происходит? — спрашивает Инес. — Почему меня не уведомили?

Не успевает сестра Луиса ответить, встречается мальчик.

— Я хочу ехать. Поехали?

Инес сердито шагает впереди, они с сестрой Луисой катят мальчика по территории, мимо любопытствующей детворы.

— До свидания, Давид! — говорит кто-то.

Инес открывает дверь машины. Он, Симон, и сестра Луиса поднимают мальчика и кладут на заднее сиденье. Он поддается, как поломанная игрушка.

Он, Симон, обращается к сестре Луисе:

— И это все? Ни слова объяснения? Давида отправляют домой, потому что он вам не годится — вашему заведению? Или вы рассчитываете, что мы его вылечим и привезем обратно? Что с ним случилось? Почему он не может ходить?

— Весь лазарет на мне, помощников у меня нет, — говорит сестра Луиса. — Давид — славный юноша, он скоро поправится, но ему нужна особая забота, а у меня на это нет времени.

— А ваш директор, ваш доктор Фабриканте, осведомлен — или вы избавляетесь от Давида по собственной инициативе, потому что у вас нет времени с ним возиться? Спрошу еще раз: что с ним стряслось?

— Я упал, — говорит мальчик с заднего сиденья. — Мы играли в футбол, и я упал. Вот и все.

— Ты сломал себе что-то?

— Нет, — отвечает мальчик. — Поехали, а?

— Его осматривал врач, — говорит сестра Луиса. — Дважды. У Давида общее воспаление суставов. Врач сделал ему укол, чтобы пригасить воспаление, но укол не подействовал.

— То есть вот, значит, что в вашем приюте творится с детьми, — говорит Инес. — У этой болезни, от которой ему делали укол, есть название?

— Это не болезнь, это воспаление суставов, — говорит сестра Луиса. — Воспаления у детей — вещь нередкая, когда они растут.

— Чушь, — говорит Инес. — Ни разу не слышала о ребенке, который растет так быстро, что ходить своими ногами не может. То, что вы с ним сделали, — позор.

Сестра Луиса пожимает плечами. Холодно, и ей хочется вернуться в уютный лазарет.

— Прощай, Давид, — говорит она и машет ему в окно.

Дети из приюта с любопытством стягиваются к ним, машут им вслед.

— А теперь выкладывай, Давид, — говорит Инес. — Начни с самого начала. Расскажи, что случилось.

— Нечего рассказывать. Посреди игры я упал и не смог встать, они уложили меня в лазарет. Думали, я сломал ногу, но пришел врач и сказал, что не сломано.

— Тебе было больно?

— Нет. Больно по ночам.

— А дальше? Скажи, что было дальше.

Встревает он, Симон.

— Хватит пока, Инес. Завтра отвезем его к врачу — настоящему врачу, получим насто-

ящий диагноз. Станет ясно, что делать дальше. А пока, мой мальчик, слов нет, до чего мы с твоей матерью счастливы, что ты возвращаешься домой. Начнется новая глава в книге твоей жизни. Кто выиграл в том матче?

— Никто. Они забили гол, хороший, мы забили гол, тоже хороший, — и забили гол не очень хороший.

— В футболе все голы засчитываются, хорошие они или плохие. Хороший гол плюс плохой гол — это два гола, значит, вы выиграли.

— Я сказал «и». Я сказал, мы забили хороший гол *и* мы забили плохой гол. «И» — это не то же самое, что «плюс».

Они подъезжают к своему многоквартирному. Невзирая на боль в спине, он, Симон, вынужден нести мальчика наверх, как мешок с картошкой.

За вечер понемногу складывается более полная история. Еще до той роковой игры, как выясняется, уже поступали тревожные сигналы: у Давида время от времени внезапно отказывали ноги и он падал на землю, словно его сшибало великанской рукой. Миг спустя жизненная сила возвращалась и Давид вставал.

Снаружи это выглядело так, будто он просто спотыкается о свои же ноги. А затем настал день, когда он упал, но сила в ноги не вернулась. Он лежал на поле, беспомощный, словно

жук, пока не притащили носилки и не унесли Давида прочь. С того дня он застрял в лазарете, пропускал уроки.

Еда в лазарете была ужасная: по утрам вареная крупа, вечером гренки с супом. Все в лазарете на дух не выносили эту еду и рвались на выписку.

Ноги у него болели все время. Сестра Луиса заставляла его делать упражнения, чтобы укрепить ноги, но упражнения не помогали.

Хуже всего болело по ночам. Иногда от боли не мог спать.

У сестры Луисы была своя комната рядом с палатой, но, если сестру Луису будить, у нее портилось настроение, и поэтому ее никто никогда не звал.

Болели у Давида колени, а также щиколотки. Иногда болело меньше, если подтянуть колени к груди.

Доктор Хулио кратко навещал его через день, поскольку проверять лазарет входило в его обязанности, но с ним, с Давидом, он ни разу не заговаривал, потому что сердился на Давида за падение на матче.

— Уверен, это не так, — говорит он, Симон. — Мне не нравится доктор Хулио, но я убежден, что он не стал бы сердиться на ребенка за то, что ребенок болен.

— Я не болен, — говорит Давид. — Со мной что-то не так.

— С тобой что-то не так, и ты болен — два способа сказать одно и то же.

— Не одно и то же. Доктор Хулио не верит, что я настоящий сирота. Я ему в приюте нужен только для того, чтобы играл в футбол.

— Это наверняка неправда. Но тебе по-прежнему хочется быть сиротой — теперь, после того как ты посмотрел, что происходит в приюте?

— Я настоящий сирота. Это «Лас Манос» ненастоящий приют.

— А по мне, он довольно-таки настоящий. Как же, по-твоему, выглядит настоящий приют?

— Не могу пока сказать. Я его распознаю, если увижу.

— Как бы то ни было, — говорит Инес, — теперь ты у себя дома, как положено. Ты свой урок получил.

Мальчик молчит.

— Что хочешь сегодня на ужин? Выбирай, что пожелаешь. Для нас всех это важный день.

— Хочу картофельное пюре с фасолью. И тыкву с корицей. И какао. Большую кружку.

— Хорошо. Я поджарю еще куриной печенки к пюре.

— Нет. Я больше не ем куриное мясо.

— Вас этому в приюте учат, что нельзя есть куриное мясо?

— Я сам себя этому научил.

— Ты сильно исхудал. Тебе нужно набираться сил.

— Мне не нужны силы.

— Нам всем нужны силы. Может, вкусной рыбки?

— Нет. Рыба тоже живая.

— Картофель живой. Фасоль живая. Они просто живут по-другому. Если отказываешься есть живое — отощавешь и умрешь.

Мальчик молчит.

— Но это великий день, и спорить мы не будем, — говорит Инес. — Сделаю пюре, фасоль и морковь. Тыквы у нас нет. Куплю завтра. А теперь тебе пора принять ванну.

Давно он не видел мальчика голым, и то, что он видит, его тревожит. Бедренные кости торчат, как у старика. Коленные суставы зримо распухли, а на пояснице — скверная ссадина.

— Что случилось у тебя со спиной?

— Не знаю, — отвечает мальчик. — Просто болячка. У меня все болит.

— Бедный ты ребенок, — говорит он и неуклюже обнимает его. — Бедный ребенок! Что с тобой стряслось?

Мальчик содрогается от плача.

— Почему это все у меня? — рыдает он.

— Мы завтра покажемся доктору, он даст тебе лекарство, и скоро ты поправишься. А теперь давай примем ванну, потом хорошенько поужинаем, а потом Инес даст тебе пилюлю,

чтобы ты выспался. Утром все будет уже по-другому, даю слово.

Инес дает ему не одну пилюлю, а две, и мальчик засыпает, свернувшись на краю кровати, поджав коленки к груди.

— Вот он и вернулся домой, — говорит он Инес. — Может, мы в конечном счете и не такие уж плохие родители.

Инес выдает призрачную улыбку. Он тянется к ней и берет ее за руку — и этот жест она в кои-то веки ему позволяет.

## Глава 9

Врач, к которому они приходят на прием, — педиатр, консультант при городской больнице, его настоятельно рекомендовала Иносенсия, сотрудница Инес в «Модас Модернас». («Моя дочурка все время кашляла и задыхалась, никто из врачей ей помочь не мог, мы отчаялись, а затем отвезли ее к доктору Рибейро, и у девочки ни единого припадка потом не было».)

Доктор Рибейро оказывается пухлым, лысеющим мужчиной средних лет. Он носит очки в такой громадной оправе, что лицо его словно бы исчезает за ними. Он рассеянно приветствует их с Инес: все его внимание устремляется к Давиду.

— Твоя мама говорит, что у тебя был несчастный случай, когда ты играл в футбол, — говорит он. — Можешь рассказать подробно, что произошло?

— Я падал. Не только когда играл футбол. Я падал много раз, просто не говорил никому.

— Ты и родителям не говорил?

Самое время Давиду повторить, что Инес и он, Симон, ему ненастоящие родители, что он сирота, один на белом свете. Но нет — глядя в глаза доктору Рибейро, он произносит:

— Я не говорил родителям. Они бы разволновались.

— Ладно. Расскажи про эти падения. Это случается, только когда ты бегаешь или когда ходишь тоже?

— Это случается постоянно. Это случается, когда я лежу в постели.

— А перед тем как упасть, ты чувствуешь, что теряешь равновесие?

— Я чувствую, будто весь мир клонится вбок, и я валюсь с него, и из меня вылетает воздух.

— Это тебя пугает — когда мир клонится вбок?

— Нет. Я ничего не боюсь.

— Ничего не боишься? А диких зверей? А разбойников с пистолетами?

— Нет.

— Тогда ты отважный мальчик. Когда падаешь, сознание теряешь? Ты знаешь, как это — терять сознание?

— Я не теряю сознание. Я вижу все, что происходит.

— А как ты ощущаешь, что вот-вот упадешь, когда начинаешь падать?

— Мне приятно. Как опьянеть. Я слышу звуки.

— Какие звуки ты слышишь?

— Пение. И колокольчики будто звенят на ветру.

— Расскажи доктору о своих коленях, — говорит Инес, — о боли в коленках.

Доктор Рибейро упреждающе скидывает руку.

— До коленок мы доберемся через минуту. Сперва я хочу побольше узнать о падениях. Когда ты упал в первый раз? Помнишь?

— Я лежал в постели. Все наклонилось вбок. Пришлось держаться крепче, чтоб не упасть с кровати.

— Давно было?

— Довольно давно.

— Ладно. А теперь давай-ка на твои коленки посмотрим. Раздевайся и ложись на спину. Я тебе помогу. Родители, наверное, пусть выйдут.

Они с Инес сидят на банкетке в коридоре. Чуть погодя дверь открывается, доктор Рибейро зовет их внутрь.

— Ну и загадку загадал нам юный Давид, — говорит доктор Рибейро. — Вы, наверное, подзреваете, уж не то ли оно, что раньше называлось падучей. Я пока склонен отрицать такую возможность, но это нужно подтвердить дальнейшим наблюдением. Суставы у Давида малоподвижные и воспаленные — причем не только колени, но и бедра, и щиколотки.

Немудрено, что они у него болят, и меня не удивляет, что он иногда падает. Похожее состояние бывает у пожилых пациентов. Не было ли у него перемен в рационе последнее время, что могло привести к подобной реакции?

Они с Инес переглядываются.

— Он последнее время ел не дома, — говорит Инес. — Он жил в приюте за рекой.

— В приюте за рекой. Может, вы свяжете меня с приютом, и я выясню, не было ли и других таких же случаев помимо Давида?

— Приют называется «Лас Манос», — говорит он, Симон. — За лазарет там отвечает некая сестра Луиса. Она сказала нам, что ей не хватит компетенции, чтобы лечить Давида, и велела нам забрать его домой. Она, видимо, сможет вам ответить.

Доктор Рибейро записывает что-то себе в блокнот.

— Я бы предложил Давиду провести день-другой под наблюдением в городской больнице, — говорит он. — Я дам направление. Привозите завтра утром. Начнем проверку его реакции на разные пищевые продукты. Согласен, Давид? Сделаем?

— Я буду калекой?

— Конечно, нет.

— А другие дети могут подцепить то, что у меня?

— Нет. То, что у тебя, — не инфекционное, не заразное. Не волнуйся, юноша. Мы тебя поправим. Скоро будешь опять играть в футбол.

— И танцевать, — вставляет Симон. — Давид — прекрасный танцор. Он учится танцу в Академии музыки.

— Тем более, — говорит доктор Рибейро. — Любишь танцевать?

Мальчик пренебрегает вопросом.

— Я падаю не из-за пищевых продуктов, — говорит он.

— Мы не всегда знаем, что там в пищевых продуктах, которые мы едим, — говорит доктор Рибейро. — Особенно в баночных и консервированных.

— Больше никто не падает. Падаю один я.

Доктор Рибейро смотрит на часы.

— До завтра, Давид. Тогда и продолжим расследование.

Наутро они привозят Давида в городскую больницу, где их посвящают в облегченный режим детского отделения: посещения дозволены в любое время дня и ночи, за вычетом врачебного обхода.

Давиду выделяют кровать у окна, а потом забирают на первые анализы. Он возвращается через несколько часов, вид у него довольный.

— Доктор Рибейро собирается сделать мне укол, от которого станет лучше, — объявляет

Давид. — Лекарство приедет из Новиллы поездом, в холодильнике.

— Радостно слышать, — говорит он, Симон. — Но я так понял, что доктор Рибейро будет проверять тебя на аллергии. Он передумал?

— У меня в ногах нейропатия. Укол убьет нейропатию.

Он произносит слово *neuropatía* уверенно, словно понимает, что оно значит. Но что же оно значит?

Он, Симон, выскальзывает и ловит единственного наличного врача — дежурного.

— Наш сын говорит, что ему диагностировали *neuropatía*. Не могли бы вы сказать мне, что это значит?

Дежурный врач уклончив.

— *Neuropatía* — общее неврологическое отклонение, — говорит он. — Лучше вам поговорить с доктором Рибейро. Он сможет объяснить.

Заходит медсестра.

— Врачебный обход! — объявляет она. — Посетителям пора прощаться!

Давид поспешно прощается с ними. Пусть обязательно принесут «Дон Кихота», говорит он. И обязательно пусть скажут Дмитрию, чтобы пришел в гости.

— Дмитрию? С чего ты вдруг вспомнил о Дмитрие?

— А вы не знаете? Дмитрий здесь, в больнице. Врачи ему дают электричество, чтобы он больше никого не убил.

— Ты совершенно точно с Дмитрием видеться не будешь. Если Дмитрий вправду тут, он в той части больницы, где все заперто, как в тюрьме, и решетки на окнах — в отделении для опасных людей.

— Дмитрий не опасный. Я хочу, чтоб он пришел ко мне в гости.

Инес не в силах держать себя в руках.

— Ни за что! — срывается она. — Ты ребенок! Никаких отношений у тебя не будет с этим отвратительным существом!

Они с Инес выбирают в больничный двор, ждут, когда врачи завершат обход, обсуждают это новое осложнение.

— Вряд ли нам есть чего опасаться со стороны Дмитрия, — говорит он, Симон. — Его накрепко заперли в психиатрическом отделении. Вопрос в том, успешно лечение или нет. Вдруг лекарства или электрошок и вправду сделали из него нового человека? В таком случае нужно ли запрещать Давиду с ним видеться?

— Пришло время обращаться с этим ребенком решительнее, положить конец его глупостям — и глупостям с Дмитрием, и глупостям с приютом, — отзывается Инес. — Если не поставим себя как следует, мы навсегда потеряем власть над ним. Это я во всем виновата. Бу-

ду оставлять себе больше времени, свободного от магазина. Я бросила все на тебя, а ты слишком расхлябанный, слишком беспечный. Он из тебя веревки вьет — это я вижу каждый день. Ему нужна твердая рука. Ему следует придать направление в жизни.

В ответ он мог бы сказать много чего, но воздерживается.

Сказать он хотел бы вот что: *Придавать жизни Давида направление можно было, когда ему было шесть лет, а теперь, чтобы удержать власть над ним, потребуется цирковой дрессировщик с пистолетом и кнутом.* Он хотел бы сказать еще вот что: *Лучше бы нам признать, что, возможно, судьба наша — недолго служить родителями, что мы уже пережили время своей полезности ему и пришла пора отпустить его двигаться своим путем.*

## Глава 10

У себя в кабинете доктор Рибейро усаживает их и посвящает в дальнейшие подробности. Первые анализы подсказывают, что Давид страдает не от аллергической реакции — эту гипотезу теперь можно отставить, — а от синдрома Сапорты, нейропатии адинамической разновидности, то есть патологии нервных путей, по которым проходят сигналы к конечностям. К сожалению, о том, что порождает этот синдром, известно мало. Считается, что он — генетического происхождения. Может просуществовать в спящем режиме много лет, а потом открыться в острой форме, как у Давида. Необходимо понимать, проявлял ли Давид эти или похожие симптомы в ранние годы, может, даже в младенчестве: произвольные мышечные сокращения, беспричинные резкие боли в конечностях? Есть ли в семье с отцовской или материнской стороны случаи неврологических расстройств или паралича? И не приходилось ли Давиду переносить переливания кро-

ви? Известно ли им, что у Давида редкая группа крови?

Отвечает Инес:

— Давид — ребенок приемный. Он достался нам поздно. Мы не знакомы с его семейной историей. Мы ничего не знаем о его типе крови. Он никогда прежде не сдавал кровь на анализ.

— Он приемный, говорите. У вас нет возможности связаться с родителями?

— Нет.

Доктор Рибейро делает пометку в блокноте, продолжает. Сейчас левая сторона у Давида в худшем состоянии, чем правая, но Сапорта прогрессирует и, если ее не сдерживать, может привести к параличу. В худшем случае — худшем и редчайшем — пациент может утратить способность глотать или дышать, и в этом случае умрет. (Он не произносит слово «умрет» — пациент «утратит жизненные функции», говорит он.) Но Давид сильный, здоровый юноша, нет причин полагать, что лечение на него не подействует.

Говорит Инес:

— Сколько ему придется пробыть в больнице?

Доктор Рибейро постукивает авторучкой по нижней губе.

— Сеньора, мы сделаем для мальчика все возможное. Будем пристально следить за тем,

как он поправляется. А пока назначим ему режим физиотерапии, чтобы сохранить мышцы в тонусе и скомпенсировать последствия затяжного пребывания в постели.

Он, Симон:

— Давид говорит о лекарстве, которое едет из Новиллы.

— Мы на связи с нашими коллегами в Новилле. Буду откровенен. Это необычный случай. У нас в Эстрелле случаев Сапорты еще не бывало. Может, стоит послать юного Давида лечиться в Новиллу? Условия там однозначно лучше. Отправка его в Новиллу, таким образом, — это вариант. Вместе с тем его семья — вы — здесь, здесь же и его друзья, а из-за этого, по размышлению, ему лучше остаться. Пока что.

— А само лекарство?

— У него тоже есть потенциал. К Давиду мы применим комплексный подход. Ему, возможно, придется побыть здесь сколько-то. К счастью, у нас есть среди персонала человек, который помогает юным пациентам, пропускающим школьные занятия. Настоящий живчик. Я вас познакомлю.

— Надеюсь, у вашего живчика нет никаких странных измышлений, — говорит Инес. — Хватит с Давида учителей со странными измышлениями. Пусть с ним обращаются, как с любым нормальным ребенком.

Доктор Рибейро смотрит на нее вопросительно.

— Давид — паренек смысленный, — говорит он. — Нам с ним пока не выдалось времени как следует поболтать, но я все равно вижу, что он исключительный. Уверен, они с сеньорой Девито поладят.

— Давид достаточно пострадал от того, что с ним обращаются как с исключительным, доктор. Нормальное обучение — вот чего мы для него просим. Если хочет быть исключением — художником, бунтарем или кем угодно в этом духе, — пусть будет им позже, когда вырастет.

Сеньора Девито — такая юная, малюсенькая и тонкокостная, что едва достигает Инес до плеча. Ее кудрявые светлые волосы дыбятся нимбом у нее над головой. Она воодушевленно принимает их у себя в кабинетике: по размерам он — не больше шкафа.

— Так вы, значит, родители Давида! Он называет себя сиротой, но вы сами знаете, какие они, дети, в этом возрасте — чего только не придумают. Вы видели доктора Рибейро, а значит, в курсе, что Давид с нами тут пробудет сколько-то. Важно, чтобы его ум оставался деятельным. Не менее важно, чтобы мальчик не отставал по учебе, особенно в естественных науках и математике. По математике отстать очень легко, а потом ни за что не наверстаешь.

Вы очень нам поможете, если привезете учебники Давида.

Он, Симон, поглядывает на Инес.

— Нам нечего привезти, — говорит он. — Не буду объяснять почему — все слишком сложно. Скажу попросту вот что: Давид, пусть и не сирота, последнее время учился в приюте «Лас Манос». Люди, содержащие «Лас Манос», не очень-то доверяют книгам.

— По моему мнению, — говорит Инес, — ему надо начать учебу целиком заново, с букваря и счета, словно ум у него — чистый лист, как если б Давид был младенцем. Его нужно натаскивать с основ, чтобы время, пока он в больнице, не ушло впустую. Вот что я предлагаю как родитель.

В крошечном кабинете сеньоры Деви-то они всего несколько минут, но в нем уже словно бы нет воздуха. Голова у него, Симона, кружится.

— Вы не против, если я открою дверь? — спрашивает он и открывает дверь.

Золотые локоны сеньоры Деви-то мерцают на свету.

— Я сделаю для вашего сына все от меня зависящее, — говорит она. — Но обязана предупредить уже сейчас... — Она подается вперед над своим узким столом, на котором нет ничего, кроме игрушечной птички из бусин и проволоки, сидящей на палочке и взвешивающей на

них блестящими черными глазками. — Я обязана вас предупредить...

— О чем вы обязаны нас предупредить? — спрашивает он.

— Я обязана вас предупредить, что в такое трудное время... — Она качает головой. — Конечно, Давиду нужен букварь и все прочее. Но в такое время ребенку нужно нечто большее, чем букварь. Ему нужна рука, на которую он может опереться.

Она ждет, смотрит на них многозначительно, ждет, пока они усвоят сказанное.

Говорит Инес:

— Сеньора, за его краткую жизнь Давиду было предложено достаточно рук для опоры, он отверг их все. А вот подходящего образования ему не предложили. Человеку, у которого нет своих детей... у вас же нет своих детей, верно?

— Нет, нету.

— Легко кому-то вроде вас говорить нам, что Давиду нужно, а что нет. Но я знаю его лучше, чем вы, и говорю вам, что ему надо учить уроки, как любому нормальному ребенку. Вот и все. Я свое слово сказала. — Она берет сумку, встает. — Всего хорошего.

Он догоняет Инес уже в коридоре. Вид у нее величественный. Возможно — вид человека самонадеянного, возможно — упорствующего в заблуждениях, возможно — негодующего, но

тем не менее величественный: вид женщины, которая с первого же взгляда, какой он бросил на нее, показалась ему истинной матерью мальчику.

— Инес! — окликает ее он.

Она останавливается и разворачивается к нему.

— Что? — спрашивает она. — Как на этот раз ты собираешься мне перечить?

— Я не собираюсь перечить. Напротив, я хочу сказать тебе, что я за тобой, целиком за тобой. Куда поведешь, туда я и двинусь.

— Правда? Ты уверен, что не пойдешь на поводу у красотки, которую пожирал глазами?

— Я пойду за тобой, тебя буду слушаться — и больше никого. Что еще могу я добавить?

Приближаясь к детскому отделению, они слышат голос Давида, ровный, уверенный.

— Он знал, что это клетка, а не карета, но все равно позволил колдуну запереть себя, — говорит Давид. — Он знал, что, когда б ни пожелал...

Они с Инес замирают на пороге. У изножья кровати Давида, слушая его, сидит молодая женщина, упитанная, словно голубь, в се-стринской форме. Вокруг нее столпились другие дети из отделения.

— Он знал, что, когда б ни пожелал, он сможет удрать, потому что еще не изобрели замок, способный удержать его. И тогда колдун шел-

кнул кнутом, и два здоровенных коня потащили карету, где в клетке сидел благородный рыцарь. Коней звали Перл и Тень. Перл был белый, Тень — черный, оба равны друг другу по силе, но Перл был конем тихим, рассеянным, он вечно думал о чем-то, а Тень — лютым и неукротимым, то есть он вечно хотел бежать своей дорогой, и потому колдуну иногда приходилось стегать его, чтоб слушался. Эй, Инес! Эй, Симон! Вы слушаете мою историю?

Молодая медсестра подскакивает и, втянув голову в плечи, виновато семенит прочь.

Дети, облаченные в больничные небесно-голубые пижамы, не обращают на Инес и Симона внимания, нетерпеливо ждут, когда Давид продолжит рассказ. Самая маленькая среди них — девочка с хвостиками, не старше лет четырех-пяти, старший — крепкий мальчик, у него уже намечаются усы.

— Они ехали и ехали, пока наконец не приехали к границе новой неведомой страны. «Тут я брошу тебя, Дон Кихот, — сказал колдун. — Дальше лежат владения Черного Принца, туда даже я страшусь проникать. Предоставлю белому коню Перлу и черному коню Тени влечь тебя в твои дальнейшие приключения». С этими словами колдун напоследок хлестнул кнутом, кони понеслись и потащили Дон Кихота в его клетку в неведомую землю.

Давид умолкает, смотрит в пространство.

*Дж. М. Кутзее*

— И? — подает голос маленькая девочка с хвостиками.

— Завтра я увижу дальнейшее и расскажу, что произошло с Дон Кихотом.

— Но с ним же ничего не случилось, да? — спрашивает маленькая девочка.

— Ничего плохого с Дон Кихотом не случается, потому что он хозяин собственной судьбы, — говорит Давид.

— Это хорошо, — отзывается маленькая девочка.

## Глава 11

Он выводит Боливара в парк на привычную прогулку, и тут к нему подбегает ребенок — мальчонка из квартир наверху, к которому он, Симон, благоволил давно: ребенок с ума сходит по футболу, но еще слишком мал и в играх не участвует. Зовут его Артемио, но мальчишки прозвали его Эль Перрито — «щеночек».

— Сеньор, сеньор! — окликает он Симона. — Это правда, что Давид скоро умрет?

— Нет, конечно же. Ни разу не слышал подобной чепухи. Давид в больнице, потому что у него болят коленки. Как только у него с коленками станет лучше, он вернется к нам играть в футбол. Сам увидишь.

— То есть он не умрет?

— Разумеется, нет. Никто не умирает от больных коленок. Кто тебе сказал, что он скоро умрет?

— Другие ребята. Когда он вернется?

— Я тебе сказал: когда поправится.

— Можно повидать его в больнице?

— Больница очень далеко. Нужно сесть в автобус, чтобы туда добраться. Даю тебе слово: Давид скоро вернется. На следующей неделе — или через одну.

Он пытается выбросить юного Артемио из головы, но разговор этот не дает ему покоя. С чего дети взяли, что Давид смертельно болен?

Приехав в детское отделение наутро, он замирает перед дверью. Человек в белом облачении больничного санитара сидит на кровати Давида, едва ли не головой к голове с мальчиком, они вместе смотрят на что-то, лежащее на покрывале между ними. И лишь когда человек поднимает голову, он, Симон, потрясенно осознает, кто это. Это Дмитрий, человек, убивший учительницу Давида — он удавил ее, и его посадили под стражу на всю оставшуюся жизнь, но вот он вернулся, словно злой дух, преследовать ребенка — и они теперь вдвоем играют в кости!

Он, Симон, решительно шагает вперед.

— Руки прочь от этого ребенка! — кричит он.

Мирно улыбаясь и убирая кубик в карман, Дмитрий отступает. Другие дети в палате ошарашены, одна малышка принимается плакать, вбегает медсестра.

— Что здесь делает этот человек? — требует ответа он, Симон. — Вы разве не понимаете, кто это?

— Успокойтесь, — говорит медсестра. — Этот человек — санитар. Он прибирает в палатах.

— «Санитар»! Он осужденный убийца! Ему место в психиатрическом отделении! Как его допускают сюда, без охраны, к детям?

Молодая медсестра встревоженно отшатывается.

— Это правда? — шепчет она, а заплакавший ребенок ревет еще громче.

Заговаривает сам Дмитрий.

— Все до последнего слова, что говорит этот господин, — правда, сударыня, каждое слово. Но, прежде чем делать поспешные выводы, задумайтесь. Почему вы считаете, что суд в его мудрости обрек меня на заключение не в одной из многочисленных тюрем, а в этой больнице? Ответ очевиден. Он прямо у нас перед глазами. Чтобы меня можно было исправить. И исцелить. Потому что больницы — они для этого. И я исцелен. Я новый человек. Желаете доказательство? — Он лезет в карман и извлекает оттуда карточку. — Дмитрий. Таково мое имя.

Медсестра всматривается в карточку, передает ему, Симону. *Город Эстрелла. Министерство здравоохранения*, — читает он. — *Сотрудник номер 15726М*. Фотография Дмитрия, голова и плечи, чистосердечный взгляд в объектив.

— Уму непостижимо, — шепчет он. — С кем тут можно поговорить — из начальства?

— Можете поговорить с кем пожелаете, — говорит Дмитрий, — но я тот, кто есть. Как, по-вашему, человеку избавиться от беса, что сидел у него на плече много лет и нашептывал скверные советы ему на ухо? Сидя в одиночной камере день и ночь, тоскуя? Нет. Ответ — в добровольном черном труде, том, какого приличная публика чурается. Вот почему я здесь. Я мету полы. Я драю туалеты. И тем самым преображаю себя. Становлюсь новым человеком. Плачу свой долг обществу. Заслуживаю себе прощение.

Давнишний Дмитрий, Дмитрий, которого он, Симон, помнит, был крепко сложен и грузноват. Обвисшие волосы, одежда пахнет куревом. Новый Дмитрий стройнее, осанка прямая, не пахнет ничем, кроме больничного антисептика. Волосы коротко стрижены, кудри жмутся к черепу. Белки глаз, некогда желтоватые, сияют крепким здоровьем. Вправду ли Дмитрий стал новым человеком, человеком преображенным? Очевидно, это так. И все же он, Симон, глубоко сомневается.

Медсестра берет на руки плачущую девочку, пытается ее успокоить.

Он, Симон, обращается к Дмитрию.

— Как бы то ни было, держись подальше от Давида, — цедит он. — Если еще раз увижу тебя с ним — за свои действия я не отвечаю.

Кротко, даже покорно склонив голову, Дмитрий, забирает ведро и удаляется.

Давид наблюдает за всем этим представлением с кровати, рассеянно улыбаясь, — это спектакль, в котором двое взрослых мужчин воюют из-за Давида.

— Почему ты расстроен, Симон? Ты разве не рад, что Дмитрий меня нашел? Знаешь, как у него это получилось? Он услышал, как я его зову. Сказал, что слышал меня, словно радио, у себя в голове, слышал, как я велю ему прийти.

— Как раз такое и может сказать помешанный — что он слышит голоса у себя в голове.

— Он дал мне слово, что будет навещать меня каждый день. Говорит, что исцелился от безумия, никого убивать больше не будет.

Теперь встревает молодая медсестра.

— Простите, что вмешиваюсь, сеньор, — говорит она, — но вы Давиду отец?

— Да, я выполняю эти обязанности по мере сил.

— В таком случае, — говорит медсестра (именная карточка на груди гласит «Сестра Рита»), — вы не могли бы зайти в *Administración*? Это срочно.

— Через минуту пойду, непременно. — А затем, когда она отходит подальше: — Тебе нравится сестра Рита? Она хорошо с тобой обращается?

— Со мной все хорошо обращаются. Они хотят, чтобы я был доволен. Они считают, что я скоро умру.

— Чепуха какая, — говорит он, Симон, уверенно. — Никто не умирает от больных коленок. Давай я схожу и узнаю, чего там хотят люди из *Administración*. Вернусь.

Из двух конторок *Administración* он выбирает ту, за которой сидит женщина постарше, подобраее с виду.

— Я по поводу мальчика по имени Давид, — говорит он, склоняясь к отверстию в стекле. — Мне сказали, что дело срочное.

Женщина перебирает бумажки у себя на столе.

— Да, у меня тут где-то его документы... А, вот. Нужно подписать бланк согласия и бланк госпитализации. Вы отец?

— Нет, но выступаю в его роли. Отец неизвестен. Это долгая и сложная история. Если вам нужна подпись, я подпишу все, что вы мне предложите.

— Мне нужен идентификационный номер ребенка.

— Его идентификационный номер, если я правильно помню, 125711N.

— Это новилльский номер. Мне нужен эстрелльский.

— А новилльский номер нельзя? Вы же не собираетесь отказать в лечении ребенку только потому, что он из Новиллы.

— Это для учета, — говорит женщина. — Прошу вас, когда приедете в следующую

ший раз, привезите его эстрелльскую карточку и эстрелльский номер.

— Так и сделаю. Вы сказали, там еще второй бланк.

— Бланк согласия. Его должен подписывать родитель или законный опекун.

— Я подпишу как опекун. Я опекал Давида почти всю его жизнь.

Она смотрит, как он подписывает документ.

— Это все, — говорит она. — Не забудьте привезти карточку.

Вернувшись в палату, он обнаруживает вокруг кровати Давида такую плотную толпу, что самого Давида и не видно: не только сестра Рита и учительница с золотыми кудрями и длинными сережками, сеньора Девиго, но и полдюжины мальчиков из многоквартирного, а также двое детей, которых он, Симон, помнит по приюту, — Мария Пруденсия и очень высокий тощий парнишка, чьего имени он не знает. Дмитрий там же, опирается на дальнюю стену, ехидно оглядывает его, Симона.

Давид говорит:

— У белого коня Перла имелась тайна: он умел отращивать крылья, стоило ему только захотеть. Когда повозка подъехала совсем близко к реке, Перл распахнул крылья, они оказались шире, чем у двух орлов, и повозка взлетела над водой, нисколько не намкнув.

У темного коня Тени крыльев не было, зато было тайное умение. Он умел превращать то, из чего был сделан, в очень тяжелое вещество — тяжелое, как камень. Тень терпеть не мог Перла. Тень был прямо противоположен всему, что есть в Перле. А потому, когда почувял, что повозка взлетает, превратился в камень — такой тяжелый, что повозке пришлось опуститься на землю.

Так Дон Кихот ехал все дальше и дальше в глубь пустыни на двух конях, мчавших галопом, черном и белом, покуда не поднялся большой ветер и их не укрыли облака пыли и не стало их видно совсем.

Долгая пауза. Малыш Артемио, тот самый, кого прозвали Эль Перрито, подает голос:

— А потом?

— Их не стало видно, — отвечает Давид.

— А белый конь с черным конем дрались? — не отстает мальчик.

— Их не стало видно, — яростно шепчет Мария Пруденсия. — Ты не понимаешь, что ли?

— Но он же возвращается, — говорит высокий мальчик из приюта. — Ему придется вернуться из пустыни, иначе мы никогда не услышим конца этой истории. Мы никогда не узнаем, как он состарился и умер.

Мария молчит.

— Он не умер, — говорит Дмитрий.

Все поворачиваются к нему, глазают на него. Дмитрий легко опирается на швабру, упивается всеобщим вниманием.

— Это всего лишь история — что он умер, — говорит он, — история, которую кто-то записал, и получилась книга. Это неправда. Он удалился в бурю на своей повозке, влекомой двумя конями, как Давид и сказал.

— Но если, — не отступает высокий мальчик, — если это неправда, что он умер, если это просто история, тогда откуда мы знаем, что была буря, откуда мы знаем, что и буря — не выдумка?

— Потому что Давид только что рассказал нам. Повозка, пустыня, буря — все это от Давида. А старость и смерть — это из книги. Кто угодно мог такое придумать. Разве не так, Давид?

На этот вопрос Давид ответа не дает. На лице у него улыбка, которую он, Симон, знает очень хорошо, — многозначительная ухмылочка, которая его, Симона, вечно раздражает.

— Может, пригодится, если я расскажу всю историю Дон Кихота? — слышит он собственный голос. — «Дон Кихот» — название книги, которую я нашел на полках библиотеки в Новилле, где мы — Давид, его мама и я — когда-то жили. Я взял книгу почитать и дал ее Давиду. Вместо того чтобы, как и полагается добропорядочному гражданину, вернуть книгу в библи-

отеку, Давид оставил ее себе. Он по ней учился читать на испанском, потому что, как и всем нам, ему нужно было осваивать основы испанского. Он прочитал эту книгу столько раз, что она осела у него в памяти. «Дон Кихот» стал частью Давида. Его голосом книга заговорила.

Встревает Дмитрий:

— Зачем вы читаете нам эту лекцию, Симон? Она неинтересна. Мы хотим слушать историю Давида, а не вашу.

Дети согласно бормочут.

— Очень хорошо, — говорит он, Симон. — Устраняюсь. Умолкаю.

Давид продолжает рассказывать,

— Кругом царила тьма. И тут Дон Кихот увидел вдали свет. Приближаясь, он разглядел горящий куст. Из куста послышался голос. «Пришло время выбирать, Дон Кихот, — сказал тот голос. — Либо ты следуешь за белым конем Перлом, либо за темным конем Тенью». — «Я последую туда, куда повезет меня темный конь», — решительно сказал Дон Кихот.

И тут же прутья клетки, что держали Дон Кихота взаперти, отпали. Белый конь Перл сбросил сбрую, расправил крылья и улетел в небеса, и никогда его больше не видели, а темный конь Тень потащил повозку дальше.

И вновь мальчик умолкает, лицо нахмурено.

— Что такое, Давид? — спрашивает малыш Артемио вроде бы совершенно бесстрашно.

Давид пренебрегает этим вопросом.

— Тише, — говорит сестра Рита. — Давид устал. Идемте, дети, пусть Давид отдохнет.

Дети не обращают на нее внимания. Давид вперяется в пустоту, по-прежнему хмур.

— Слава! — говорит Дмитрий. — Слава, слава, слава!

— Что это значит — «слава»? — спрашивает Артемио.

Дмитрий укладывает подбородок на ручку швабры, пожирает Давида взглядом.

Что-то происходит — и он, Симон, это отчетливо видит — между Дмитрием и Давидом, что-то происходит. Но что? Дмитрий восстанавливает свое влияние на мальчика, какое было годы назад?

С непреклонностью, какая его, Симона, удивляет, сестра Рита силком отпихивает детей от постели и задергивает шторы.

— На сегодня у истории такой конец, — говорит она поспешно. — Если хотите еще истории, приходите завтра. И вы тоже, сеньор Симон.

## Глава 12

Появляется Инес, и ему ничего не остается, только выложить ей новость о появлении Дмитрия.

— Как джинн из бутылки, — говорит он, Симон. — Злой джинн. Хуже некуда.

Инес забирает ключи.

— Идем, Боливар, — говорит она.

— Ты куда?

— Если ты — слабак, не можешь защитить Давида от этого сумасшедшего, то я — нет.

— Давай я с тобой поеду.

— Нет.

Он ждет ее за полночь, но Инес не возвращается. Поутру он первым же автобусом едет в больницу. Кровать мальчика пуста. Медсестра ведет его по коридору туда, куда переложили Давида, — в отдельную палату. («Просто предосторожность», — говорит она.) Он видит, что у кровати мальчика, ссутулившись в кресле, спит Инес, руки сложены на груди. Мальчик тоже спит. Его, Симона, приход замечает только Боливар.

Мальчик лежит на боку, колени подтянуты к подбородку. Сосредоточенная нахмуренность не сошла с его лица — а может, это нахмуренность боли.

Он кладет руку на плечо Инес.

— Инес, это я. Дальше сам постою.

Когда он впервые увидел Инес четыре года назад, она все еще могла бы сойти за молодую женщину. Кожа у нее была гладкой, глаза сияли, в походке — легкость. Но яркий утренний свет жестоко показывает, как время взяло над нею верх. Из уголков рта вниз тянутся морщины, в волосах — первые седые пряди. Он, Симон, никогда не любил Инес, как любит мужчина женщину, но теперь впервые чувствует жалость к ней — к женщине, которой материнство принесло больше горечи, нежели радости.

— *¿Por qué estoy aquí?* — Почему я здесь? Мальчик внезапно просыпается, шепчет, глядит на него с неподвижным пылом.

— Ты болен, мой мальчик, — шепчет он, Симон, в ответ. — Ты болен, а больница — место для больных людей, чтобы они поправлялись. Нужно потерпеть и делать то, что тебе говорят врачи и медсестры.

— *¿Por qué estoy aquí?* — Зачем я здесь?

Шепчи не шепчи — Инес все равно проснулась.

— Не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Ты здесь, чтобы тебя вылечили. Когда вылечат, ты

сможешь дальше вести нормальную жизнь. Им просто нужно найти подходящее лекарство от твоей болезни. Сам увидишь.

— *¿Pero por qué estoy yo aquí?*

— Зачем *ты* здесь? Потому что тебе не повезло. В воздухе летают микробы, и невезучий ты оказался под ударом. Вот и все. В любой жизни случаются взлеты и падения. Тебе везло в прошлом, а теперь для разнообразия не повезло. Когда выздоровеешь, когда поправишься — будешь благодаря этому сильнее.

Мальчик смотрит безучастно, ждет, когда завершится нравоучение.

— *¿Pero por qué estoy aquí?* — повторяет он, словно разговаривает с бестолковым ребенком — с ребенком, который ничего не усваивает.

— Я не понимаю. Здесь есть здесь. — Он машет рукой, охватывая этим жестом не только палату с ее пустыми белыми стенами и цветком в горшке на подоконнике, но и всю больницу, больничные двор и дальше, за его пределами, весь белый свет. — Мы все тут. Здесь мы находимся. Где б я ни был, там мое «здесь». Где бы ты ни находился, там твое «здесь». Я не могу объяснить лучше. Инес, помоги мне. О чем он спрашивает?

— Он не тебя спрашивает. Он давно понял, что у тебя нет никаких ответов. Он спрашивает всех нас. Он взывает.

Голос — не Инес. Он звучит сзади — голос Дмитрия. Дмитрий, облаченный в опрятную форму медбрата, стоит в раме дверного проема, а за ним — сеньора Девиго, пышущая здоровьем, при ней — стопка бумаг.

— Еще шаг — и я вызываю полицию, — говорит Инес. — Я не шучу.

— Слушаю и повинуюсь, сеньора, — говорит Дмитрий. — У меня к полиции великое уважение. Но ваш сын не просит вас грамматически разобрать фразу. Он спрашивает вас, зачем он здесь. С какой целью. К чему. Он требует ключа к великой тайне, с которой имеем дело все мы вплоть до скромнейшего микроба.

Он, Симон, говорит.

— У меня, может, и нет ответов, Дмитрий, но я не настолько туп, как тебе кажется. Вот где я нахожу себя. Я нахожу себя здесь, а не где бы то ни было еще. В этом нет никакой тайны. И никакого «зачем».

— У меня была одна учительница, она говорила так же. Когда мы спрашивали у нее, зачем, она не знала ответа и отмахивалась от вопроса. *Нет никакого «зачем»*, — говорила она. Мы к ней без всякого уважения. Хороший учитель знает, зачем. Зачем мы здесь, Давид? Скажи нам.

Мальчик пытается усесться на кровати. Впервые он, Симон, осознает, что болезнь, возможно, серьезна. Под голубой больничной

пижамой мальчик кажется сокрушительно тощим — а всего несколько месяцев назад расхаживал по футбольному полю, словно молодой бог. Вид у мальчика замкнутый, озабоченный; кажется, что он их едва слышит.

— Мне нужно в туалет, — говорит он. — Инес, поможешь?

Их долго нет.

Он, Симон, обращается к учительнице:

— Меня не удивляет, что этот тип Дмитрий преследует моего сына, сеньора. Он, как паразит, прицепился к нему давно и хватку не ослабляет. Но что здесь в такой час делаете вы?

— Мы сегодня начинаем уроки с Давидом, — отвечает она. — Начинать будем рано, чтобы он успевал отдохнуть перед приходом друзей.

— И чему вы сегодня собираетесь его учить?

— Совершенно точно не тому, как рассказывать истории, поскольку Давид уже состоявшийся сказитель. Нет, на сегодняшнем уроке мы вспомним числа.

— Числа? Если вы имеете в виду арифметику, то лишь зря потратите время. У Давида арифметика — слепое пятно. Особенно вычитание.

— Будьте спокойны, сеньор, вычитанием мы заниматься не будем. Вычитание, сложение, арифметика в целом для человека, у которого такой глубокий кризис в жизни, несущее-

ственны. Арифметика — она для тех, кто собирается отправиться в мир, чтобы покупать и продавать. Нет, мы будем изучать целые числа, один, два, три, четыре и так далее. Вот о чем мы договорились с Давидом. Теория чисел, что можно с ними делать и что происходит, когда числа подходят к концу.

— Когда это числа подходят к концу? Мне казалось, что свойство чисел в том, что им нет конца.

— Правда — и неправда вместе с тем. Это один из парадоксов, с которыми мы будем разбираться: как что-то может быть правдой и одновременно неправдой.

— Да она умная, а? — говорит Дмитрий. — Такая пригожая и вместе с тем такая умная. — И тут он совершает нечто удивительное: стребает крошку учительницу в охапку и обнимает ее; она терпит это объятие с гримасой, но не протестует. — Правда и одновременно неправда!

Что-то между ними — между сеньорой Девито, больничной учительницей, и Дмитрием, шваброносцем, — происходит?

— Вы говорите, что у Давида кризис, сеньора. Какой же? У Давида приключился припадок-другой невропатии, но, насколько я разбираюсь в невропатии, это не серьезное заболевание — вернее, вообще не заболевание, а физическое недомогание. К чему тут слово «кризис»?

— Потому что больница, сеньор, — серьезное место. У любого, кто попал в больницу, кризис, поворотная точка в жизни, иначе он бы тут не оказался. При этом, с некоторой точки зрения, любой миг нашей жизни можно было бы счесть кризисом: путь разветвляется перед нами, мы выбираем, налево нам или направо.

*Мы выбираем, налево нам или направо:* он понятия не имеет, о чем она толкует.

Возвращается мальчик, идет он напряженно, держится за Инес. Та подчеркнуто выжидает, чтобы Дмитрий убрался с дороги.

— Я сейчас уйду, *querido*, — говорит Инес. — Меня ждут в магазине. Боливару заберу с собой. Симон останется и присмотрит за тобой, а вечером опять буду я. Принесу тебе чего-нибудь вкусного. Знаю, какой скучной бывает эта больничная еда.

*Querido:* милый. Давно он не слышал этого слова из уст Инес.

— Идем, Боливар, — говорит она.

Собака, улегшаяся под кроватью Давида, не шелохнется.

— Оставь его, — говорит Симон. — Я уверен, людям в больнице все равно, что он тут ночует. Если набедокурит, белый свет не рухнет, Дмитрий приберется — ему за это платят. Я привезу Боливару домой на автобусе.

Он провожает Инес до парковки. У маши-

ны она обращается к нему, Симону. На глазах у нее слезы.

— Симон, что с ним происходит? — шепчет она. — Он со мной говорил. Сказал, чувствует, что умирает и ему страшно. На пользу ли ему тут быть? Тебе не кажется, что его надо забрать домой и ухаживать за ним как следует?

— Нам так нельзя, Инес. Если заберем его домой, мы так и не узнаем, что с ним стряслось. Я понимаю, что ты во врачей не очень-то веришь, не верю и я, но давай дадим им еще немного времени, они очень стараются. Мы с тобой можем присматривать за ним, следить, чтобы ему не навредили. Согласен, да, он напуган, и я тоже это вижу, но нелепо же говорить, что он умирает, — эта история ходит среди детей, у нее нет почвы.

Инес роется в сумке, вытаскивает бумажный платок, сморкается.

— Держи этого Дмитрия от него подальше. А если увидишь, что Давид устал, вели учительнице остановиться.

— Так и сделаю, честное слово. Езжай. Увидимся вечером.

## Глава 13

Доктора Рибейро он обнаруживает у него в кабинете.

— Найдется у вас минутка? — спрашивает он, Симон. — Я давно не интересовался, как идут дела у Давида.

— Присаживайтесь, — говорит доктор Рибейро. — Случай вашего сына оказался сложным. Лечение на него не действует так, как нам бы хотелось, и это нас тревожит. Я обсудил его случай с коллегой из Новиллы, специалистом по ревматическим заболеваниям, и мы решили проделать еще одну серию анализов. Не буду вдаваться в подробности, но вы сказали нам, что Давид в юном возрасте много занимался танцами, а недавно — спортом, футболом и тому подобным. На этом основании мы рассматриваем гипотезу, что суставы у него — колени и особенно щиколотки — стали очагами реакции.

— Реакции на что?

— На избыточный стресс в слишком юные годы. Мы взяли пробы жидкости, отправили

их в лабораторию. Ожидаю результаты сегодня, самое позднее — завтра.

— Ясно. Это распространено среди физически активных детей?

— Нет, не распространено. Однако возможно. Необходимо рассмотреть все варианты.

— Давиду почти все время больно. Он сбросил вес. На мой взгляд, выглядит он неважно. А еще он напуган. Кто-то — не знаю, кто именно, — сказал ему, что он скоро умрет.

— Какая чепуха. К беспокойствам наших пациентов мы относимся серьезно, сеньор Симон. Обратное было бы непрофессиональным. Но это совершеннейшая неправда, что Давид в опасности. Случай у него трудный, как я уже сказал, в нем может быть даже идиопатический элемент, однако мы им занимаемся. Мы эту тайну раскроем. Он сможет вернуться к футболу и танцам скорее раньше, нежели позже. Можете так ему от меня и передать.

— А падения? Неприятности у него начались не с болей в суставах, как вы помните. Они начались с того, что он стал падать, играя в футбол.

— Падения — особое дело. На этот счет могу сказать вполне определенно. У падений есть простая неврологическая причина. Мы сможем разобраться со спазмами, приводящими к падению, как только улучшится физическое состояние Давида, когда уйдут воспаление и боль. Есть различные диагностические

возможности, которые мы сможем применить: некоторые вестибулярные нарушения проявляются как головокружения, например, или редкое расстройство под названием хорей. Но все это требует времени. Нельзя торопить тело, занятое починкой себя. Когда тело себя починит, мы сможем приступить к курсу упражнений по укреплению мышц. А теперь, если позволите...

Он, Симон, болтается по больничному двору, ждет, когда завершится урок с сеньорой Девито и можно будет остаться с Давидом наедине.

— Как урок? — спрашивает он.

Мальчик пренебрегает вопросом.

— Инес растирает мне ноги, — говорит он. — А ты можешь мне ноги растереть?

— Конечно! Это помогает от боли, когда тебе растирают ноги?

— Немножко.

Мальчик осторожно вытягивается и стаскивает штаны. Достав из шкафчика крем, он, Симон, массирует ему бедра и голени, стараясь не нажимать на распухшие колени.

— Инес хочет быть со мной хорошей, хочет быть мне матерью, но вообще-то не может, да? — спрашивает мальчик.

— Конечно же, может. Она предана тебе так, как только мама и способна.

— Она мне нравится, хоть и не мама мне. Ты мне тоже нравишься, Симон. Вы оба мне нравитесь.

— Это хорошо. Мы с Инес любим тебя и всегда будем о тебе заботиться.

— Но вы не можете помешать мне умереть, правда?

— Можем. Вот увидишь. Мы с Инес будем стариками, когда придет твое время — время расцвета. Ты станешь знаменитым танцором, или знаменитым футболистом, или знаменитым математиком — как сам решишь, а может, и тем, и другим, и третьим. Мы будем гордиться тобой, не сомневайся.

— Когда я был маленький, я хотел, как Дон Кихот, спасти людей. Помнишь?

— Конечно, помню. Спасать людей — хороший личный идеал. Даже если спасение людей не станет твоей профессией, как у Дон Кихота, сможешь спасти их в свободное время, когда не занят математикой или игрой в футбол.

— Это шутка, Симон?

— Да, это шутка.

— Математика — то же самое, что и числа?

— В некотором смысле. Не будь чисел, не было б и математики.

— Думаю, я буду просто заниматься числами, а не математикой.

— Расскажи мне про свой урок с сеньорой Девито.

— Я объяснил ей, как танцевать семь и как танцевать девять. Но она говорит, что танец — это не важно. Говорит, что он не готовит к жизни.

Говорит, что мне надо учить математику, потому что из математики растет все. Говорит, что если быть очень умным, то думать можно не словами, думать можно математикой. Она дружит с Дмитрием. Как думаешь, Дмитрий ее убьет?

— Конечно, нет. Они никогда не выпустили бы Дмитрия из-под замка, если бы считали, что он будет убивать людей. Нет, Дмитрий — человек преобразившийся. Исцеленный и преобразившийся. Врачи хорошенько над ним поработали. И над тобой поработают хорошенько, сам увидишь. Надо набраться терпения.

— Дмитрий говорит, что врачи не знают, о чем толкуют.

— Дмитрий ничего не смыслит в медицине. Он простой санитар, уборщик. Не обращай внимания на то, что он говорит.

— Он говорит, что, если я умру, он убьет себя, чтобы последовать за мной. Говорит, что я его царь.

— Дмитрий всегда был полоумным, слегка сумасшедшим. Я поговорю с доктором Рибейрой и спрошу, нельзя ли перевести Дмитрия на другой этаж. Эти его нездоровые разговоры тебе не на пользу.

— Он говорит, что, когда люди умирают, он отвозит их вниз в подвал и кладет в морозилку. Говорит, что у него работа такая. Это правда, как думаешь? Он правда кладет людей в морозилку?

— Хватит, Давид. Хватит нездоровых разговоров. Растирание помогло?

— Немножко.

— Хорошо, надевай штаны. Я посижу с тобой, подержу за руку, а ты подремли, чтобы, когда придут твои друзья, ты был отдохнувшим и свежим.

Следующие пару часов мальчик действительно дремлет, просыпаясь и засыпая вновь. Когда приходят дети, он выглядит лучше, в глазах — блеск.

Посетителей меньше, чем накануне, но малыш Артемио среди них, а также Мария Пруденсия и высокий мальчик из приюта. У Марии букетик полевых цветов, она торжественно кладет его на постель.

Мария начинает ему нравиться.

— Что хотите послушать? — спрашивает Давид. — Хотите еще послушать про Дон Кихота?

— Да! Про Дон Кихота! Про Дон Кихота!

— Ехал и ехал Дон Кихот в бурю. Небеса были темные, кругом вихрился песок. Вспышка молнии озарила замок. Остановившись перед зубчатой стеной, он вскричал: «Отважный Дон Кихот прибыл! Отворяйте ворота!» Трижды прокричал он «Дон Кихот прибыл!», прежде чем раздался скрип и ворота распахнулись. Верхов на своем скакуне Тени въехал Дон Кихот в замок. Но не успел оказаться внутри, как ворота захлопнулись за ним и загремел голос:

«Добро пожаловать, отважный Дон Кихот, в Замок Пропащих. Я — Владыка Пустынных Земель, и отныне ты — мой раб!» Тут на Дон Кихота набросились прислужники с дубинками и палками. Хоть и защищался он мужественно, его стащили с коня, отняли все доспехи и бросили в темницу, где он оказался среди таких же несчастных странников, пойманных и поработанных Владыкой Пустошей.

«Не ты ли знаменитый Дон Кихот?» — спросил его вожак рабов. «Я самый», — ответил Дон Кихот. «Тот самый Дон Кихот, о котором говорили, что *никакие цепи его не свяжут, никакая тюрьма не удержит?*» — «Так оно и есть», — сказал Дон Кихот. «Так освободи же нас, Дон Кихот! — взмолился вожак рабов. — Освободи нас от этой злосчастной судьбы!» — «Освободи нас! Освободи нас!» — хором вскричали остальные рабы. «Не сомневайтесь, я освобожу вас, — провозгласил Дон Кихот. — Но наберитесь терпения. Срок и способ вашего освобождения пока от меня скрыты». — «Освободи нас сейчас же! — раздался хор голосов. — Мы довольно терпели уже! Если воистину ты Дон Кихот, освободи нас! Сделай так, чтобы пали с нас цепи! Пусть стены темницы нашей обратятся в пыль!»

Тут Дон Кихот рассердился. «Я следую зову рыцарских странствий, — сказал он. — Я езжу по миру и исправляю кривды. Я не показываю

фокусы. Вы хотите от меня чудес, а сами не предлагаете мне ни еды, ни питья. Стыдитесь!»

Рабы устыдились и поднесли еду и питье, и попросили Дон Кихота простить их невоспитанность. «Что велишь, то и сделаем, Дон Кихот, — сказали они. — Освободи нас из плена, и мы последуем за тобой на край света».

Давид умолкает. Дети беззвучно ждут, что он скажет дальше.

— А теперь я устал, — говорит он. — Тут остановлюсь.

— Можешь хотя бы сказать, что там дальше? — спрашивает высокий мальчик. — Он освобождает пленников? Сбегает из замка?

— Я устал. Сплошная тьма. — Прижав колени к груди, Давид соскальзывает ниже по кровати. Вид у него делается отрешенный.

Дмитрий выступает вперед, прикладывает палец к губам.

— Пора расходиться, мои юные друзья. У нашего владыки был долгий день, ему нужно отдохнуть. Но что у нас тут есть? — Он роется в карманах и извлекает горсть конфет, раздает налево и направо.

— Давид поправится? — Вопрошающий — малыш Артемио.

— Конечно, поправится! Ты думаешь, шайка карликов в белых халатах способна извести отважного Давида? Нет. Никакие врачи на белом свете не смогут его удержать. Он — лев, ис-

тинный лев, наш Давид. Приходите завтра — сами увидите. — С этими словами он гонит детей по коридору.

Он, Симон, идет следом.

— Дмитрий, можно тебя на пару слов? То, что ты сказал про врачей... считаешь, это ответственно — вот так судить о них в присутствии Давида? Если ты не на их стороне, на чьей же тогда?

— На стороне Давида, разумеется. На стороне правды. Знаю я этих врачей, Симон, и эту их так называемую медицину. Думаешь, не усвоить человеку то-се о врачах, когда человек прибирает за ними грязь? Скажу тебе, они понятия не имеют, что с твоим сыном не так, ни малейшего понятия. Выдумывают истории на ходу — выдумывают истории и надеются на лучшее. Но не бери в голову. Давид исцелит себя сам. Не веришь мне? Идем. Идем, услышишь из его собственных уст.

Давид безучастно наблюдает их возвращение.

— Скажи Симону то, что ты сказал мне, юный Давид. Есть ли у тебя хоть какая-то вера в этих врачей? Ты веришь, что есть у них сила тебя спасти?

— Да, — шепчет мальчик.

— Ты очень щедр, — произносит Дмитрий. — Но мне ты говорил другое. Но ты всегда щедрая душа, щедрая, добрая и чуткая. Симон

беспокоится о тебе. Думает, что ты катишься под горку. Я велел ему не тревожиться. Сказал, что ты исцелишь себя сам, вопреки врачам. Ты исцелишь себя, правда же? Как я исцелился, исторгнув из себя скверну.

— Хочу повидаться с Херемией, — говорит мальчик.

— С Херемией? — переспрашивает он, Симон.

— Это он про ягненка Херемию, — говорит Дмитрий. — Его держат в маленьком зверинце за Академией. Херемия вырос, мой мальчик, он уже не ягненок, он стал бараном. Ты, возможно, кусок ноги Херемии ел вчера на ужин.

— Он не вырос. Он все еще там. Симон, можешь привести Херемию?

— Приведу Херемию. Зайду в Академию, если Херемия по-прежнему там, приведу его тебе. Но если выяснится, что Херемии там нет, может, какое-то другое животное привести?

— Херемия там. Я знаю.

Припадки начинаются той же ночью, в дежурство Инес. Начинаются всего лишь как треморы: тело мальчика перестает гнуться, кулаки сжимаются, он скрежещет зубами и гримасничает; затем мышцы расслабляются, и мальчик становится собой. Но вскоре треморы возобновляются, усиливаются, следуют друг за другом волнами. Из горла слышен стон — «словно что-то у него внутри рвется», по словам Инес.

*Дж. М. Кутзее*

Глаза у него закатываются, спина выгибается, и начинается первая судорога — из нескольких.

Дежурный врач, молодой и неопытный, вводит лекарство от спазма, но все напрасно. Судороги учащаются, одна за другой, почти без перерывов.

Когда он сменяет Инес, буря миновала. Мальчик без памяти — или спит, но время от времени легкая судорога пробегает по его телу.

— По крайней мере, мы теперь знаем, в чем дело, — говорит он, Симон.

Инес смотрит на него без всякого понимания.

— По крайней мере, мы знаем, в чем суть беды.

— И в чем же?

— Мы знаем, из-за чего он падает. Мы знаем, в чем причина его отключек — когда он словно бы где-то не здесь. Даже если это нельзя вылечить, мы, по крайней мере, знаем, в чем дело. Лучше, чем ничего. Лучше, чем не знать. Езжай домой, Инес. Поспи. Выбрось из головы магазин. Магазин уж как-нибудь сам.

Он выпрастывает ее ладонь из ладони мальчика. Она не противится. Затем делает то, на что ему прежде никогда не хватало смелости: тянется к ней, касается ее лица, целует в лоб. В Инес поднимается плач; он, Симон, обнимает ее, позволяет ей плакать, позволяет ее скорби пролиться.

## Глава 14

Первые слова, которые мальчик произносит, открыв глаза:

— Ты привел Херемию?

— Про Херемию я тебе сейчас скажу. Но сперва хочу знать, как ты себя чувствуешь.

— У меня во рту вкус, как от гнилых персиков, и горло болит. Они мне дали мороженое, но противный вкус вернулся. Говорят, собираются отсосать старую кровь и влить мне в вены новую, и я тогда вылечусь. Где Херемия?

— Как ни жаль, Херемия пока в Академии — Алеша ищет подходящую по размерам клетку, чтобы Херемия в нее поместился. Если не найдет — построит сам. И тогда привезет Херемию на автобусе. Он дал слово. А пока — смотри! — я принес тебе двух новых друзей.

— Каких?

— Это воробьи. Поговорив с Алешей, я захватил в зоомагазин и купил их тебе. Нравятся? Их зовут Ринки и Динки. Ринки — мальчик, Динки — девочка.

— Не хочу их. Хочу Херемию.

— Херемия скоро будет. Ты бы все же порадушнее к своим новым друзьям. Они все утро ждали встречи с тобой. Послушай, как они чирикают. Что они говорят?

— Они ничего не говорят. Они птицы.

— *Прославленный Давид! Прославленный Давид!* — вот что они говорят, повторяют и повторяют на своем языке. А что там насчет новой крови?

— Они собираются прислать новую кровь поездом. Доктор Рибейро будет ее в меня заливать.

— Это хорошо. Это обнадеживает. Как поступим с Ринки и Динки?

— Отпусти их на волю.

— Уверен? Они зоомагазинные птицы. Самы о себе заботиться не приучены. А что, если ястреб их сцапает и съест?

— Отпусти их на волю в помещении — где нет ястребов.

— Так и сделаю, но тогда не забывай их кормить. Я принесу завтра птичий корм. А пока покорми их хлебными крошками.

Выманить птиц из клетки удастся не сразу. Освободившись, они летают по палате, врезаются в предметы и наконец усаживаются на карниз шторы, вид у них несчастный.

История с новой кровью оказывается правдой — или правдой отчасти, как он узнает от самого доктора Рибейры. Такова политика больни-

цы — иметь под рукой запас крови для каждого госпитализированного пациента на случай, если понадобится. А поскольку кровь у Давида редкая, ее пришлось запрашивать из Новиллы.

— Вы собираетесь сделать Давиду переливание крови? Это из-за припадков?

— Нет-нет, вы неверно поняли. Кровь — отдельное дело. Кровь должна быть под рукой на всякий случай — на чрезвычайный случай. Такова наша общая политика.

— И кровь уже сюда едет?

— Кровь поедет сюда, как только банк крови в Новилле найдет донора. Это может занять некоторое время. Как я уже говорил, группа крови у Давида редкая. Исключительно редкая. С учетом его припадков мы ввели новый лекарственный режим, чтобы их контролировать. Посмотрим, что получится.

От новых лекарств Давид, похоже, не только сонный, но и унылый. Утренний урок с сеньорой Девиго отменяется. Когда появляются гости из многоквартирника, он, Симон, уговаривает их не шуметь и дать Давиду поспать. Но вскоре возникает свежий приток посетителей: Алеша, молодой преподаватель из Академии, к которому Давид очень привязался, а с ним — многие одноклассники Давида. Алеша несет — с победным видом — ягненка Херемию в сетчатой клетке, или по крайней мере позднейшего в череде ягнят по имени Херемия.

Херемию выпускают, и детей уже не обуздать — они носятся, орут и хохочут, пытаются поймать его, а копытца ягненка скользят и разъезжаются на гладком полу.

Он, Симон, бдительно посматривает за псом в его логове под кроватью. Но все равно не торопится действовать, когда Боливар вылезает и прет на ничего не подозревающего ягненка. Он, Симон, вовремя бросается к собаке, хватается за шею и останавливает.

Здоровенный пес пытается освободиться.

— Я не могу его удержать! — пыхтит он, Симон, обращаясь к Алеше. — Убери отсюда ягненка!

Алеша загоняет блеющего ягненка в угол и скидывает его на руки.

Он, Симон, отпускает Боливара, тот кружит вокруг Алеши, ждет, когда тот устанет, выжидает перед прыжком.

— Боливар! — Голос Давида. Он садится на кровати, руки вскинуты, палец повелевает. — Ко мне!

Одним легким движением пес сигает на кровать и устраивается там, не сводит взгляда с Давида. Палата умолкает.

— Дайте мне Херемию!

Алеша опускает ягненка и передает его в руки Давиду. Ягненок прекращает брыкаться и вырываться.

Они долго смотрят друг на друга: мальчик

держит на руках ягненка, пес слегка сопит, все еще ждет своего часа.

Чары разрушены появлением Дмитрия.

— Привет, дети! Что тут происходит? Привет, Алеша, ты как?

Алеша строгим жестом велит Дмитрию замолчать. Эти двое никогда не питали друг к другу нежности.

— А ты, Давид, — говорит Дмитрий, — что затеял?

— Учу Боливара быть добрым.

— Пес — двоюродный брат волка, мой мальчик. Ты не знал? Никогда тебе не научить Боливара быть добрым к ягняткам. В его природе охотиться на них и драть им глотки.

— Боливар меня послушается. — Давид протягивает ягненка псу. Ягненок рвется из хватки мальчика. Боливар не шевелится, глаза в глаза с мальчиком.

Внезапно мальчик устает и оседает на кровати.

— Забери его, Алеша, — говорит он.

Алеша забирает ягненка.

— Идемте, дети, попрошайтесь. Давиду пора отдыхать. До свидания, Давид. Мы с Херемией придем завтра.

— Оставь Херемию, — приказывает мальчик.

— Это скверная мысль — при Боливаре его оставлять. Мы его завтра принесем, даю слово.

— Нет. Я хочу, чтобы он остался.

*Дж. М. Кутзее*

Сходятся на том, что воля Давида берет верх. Херемия остается в сетчатой клетке, на подстилке из газет, чтобы впитывалась его моча, и с горкой шпината, чтоб ему было чем подкрепиться.

Когда на свое дежурство приезжает Инес, ягненок спит беспробудно. Засыпает и сама Инес. Проснувшись, она сразу видит, что клетка лежит на боку, а от ягненка не осталось ничего, кроме головы и кровавого месива из шкуры и конечностей на прежде чистом полу.

Она смотрит под кровать и наталкивается на каменный взгляд пса. Выходит на цыпочках из комнаты, возвращается с ведром и шваброй, старательно прибирает следы бойни.

## Глава 15

После кончины ягненка Херемии в мальчике возникает перемена. Посетителей теперь встречает не улыбка, а прохладная сдержанность. Воробьи Ринки и Динки исчезли в недрах больничного здания. Ни о них, ни об их судьбе речь не заходит ни у кого.

Кто-то из медсестер — а может, сеньора Девито — развесил праздничную гирлянду, синие и красные лампочки, на стене над кроватью Давида. Они мигают без всякой закономерности, но эту гирлянду никто не снимает.

На некоторых встречах мальчик молчит от начала и до конца. Бывают дни, когда он без всякого предисловия принимается рассказывать о Дон Кихоте, а когда история завершается, замыкается в себе, словно чтоб глубже осмыслить ее значение.

Одна такая история — о Дон Кихоте и мотке бечевки.

Однажды люди принесли Дон Кихоту спутанный моток бечевки. *Если ты и впрямь Дон*

*Кихот*, — сказали они, — тебе удастся расплести этот моток бечевки.

Дон Кихот не промолвил ни слова, а вытащил свой меч и одним ударом разрубил моток надвое. *Устыдитесь же*, — сказал он, — *что усомнились во мне*.

Услышав эту историю, он, Симон, задумывается, кто они, эти «люди», принесшие Дон Кихоту моток бечевки. Не подразумеваются ли здесь люди, подобные ему, Симону?

Другая история посвящена Росинанту.

Пришел к Дон Кихоту человек и спросил: *Тот самый ли это знаменитый конь Росинант, который умеет считать? Я желаю, чтоб стал он моим. Какова ему цена?*

Дон Кихот ответил ему: *Росинанту нет цены*.

*Конь, способный считать, допустим, и редок*, — сказал человек, — *но бесценным он точно не может быть. Нет в целом мире ничего, чему нет цены*.

И тогда Дон Кихот сказал: *О человек, ты не целый мир видишь, а лишь меры, за коими этот мир сокрыт. Стыдись, слепец*.

Эти слова Дон Кихота озадачивают человека. *Покажи мне хотя бы, как этот конь считает*, — сказал он.

Тут заговорил Санчо. *Он ставит одно копыто рядом с другим и цок-цокает, когда «два», и цок-цок-цокает, когда «три». А теперь уходи и брось тревожить моего хозяина*.

Есть у Давида и история о Дон Кихоте и деве, *la virgen de Extremadura*.

Привели к Дон Кихоту деву, у которой был младенец без отца.

И тогда Дон Кихот спросил у девы: *Кто отец этого младенца?*

Дева ответила: *Не могу сказать, кто его отец, потому что я совершила половой акт с Рамоном — и совершила половой акт с Реми.*

И тогда Дон Кихот велел привести Рамона и Реми. *Кто из вас отец этого младенца?* — потребовал он ответа.

Рамон и Реми ответа не дали, сохранили молчание.

Тогда Дон Кихот сказал: *Пусть принесут лохань, наполненную водой,* — и принесли лохань, наполненную водой. Тогда Дон Кихот распеленал младенца и уложил в воду. *Пусть отец ребенка сделает шаг вперед,* — сказал он.

Ни Рамон, ни Реми шага вперед не сделали.

Тут младенец погрузился под воду, посинел и умер.

Тогда Дон Кихот сказал Рамону и Реми: *Горе вам обоим;* деве: *Горе и тебе.*

Когда история Давида о деве из Эстремадуры подходит к концу, дети стоят молча, совершенно растерянные. Ему, Симону, не терпится возразить: *Если у этой юницы был половой акт, она не может быть девой.* Но нет, он прикусывает язык и голоса не подает.

Есть и история об ученом-математике.

В своих странствиях Дон Кихот наткнулся на собрание грамотеев. Ученый-математик показывал, как можно измерить высоту горы подручными средствами. *Воткните в землю палочку высотой в один ярд, — сказал он, — и следите за ее тенью. Когда тень от палочки станет в один ярд длиной, нужно измерить тень от горы. И вот: длина той тени сообщит вам высоту горы.*

Грамотеи все вместе заплодировали ученому и его находчивости.

И тогда Дон Кихот обратился к ученому. *Тщеславец!* — сказал он. — *Неужели не известно тебе, что писано: тому, кто не взошел на гору, не узнать ее высоты?*

И поехал Дон Кихот своей дорогой, презрев грамотеев, а грамотеи меж тем посмеивались себе в бороды.

— Ты нам так и не рассказал, что стало с белым конем, у которого крылья, — говорит малыш Артемио, — с тем, который улетел в небеса. Он вернулся к Дон Кихоту?

Давид не отвечает.

— Мне кажется, он вернулся, — говорит Артемио. — Он вернулся и подружился с Росинантом. Потому что один умел танцевать, а другой умел летать.

— Цыц! — говорит Дмитрий. — Ты не видишь разве, что наш юный владыка размыш-

ляет? Имей побольше уважения и придержививай язык, когда владыка думает.

Дмитрий все чаще называет Давида *юным владыкой*. Его, Симона, это раздражает.

Гибель ягненка и на Инес оставила свой отпечаток. К самому ягненку она безразлична. Беспокоит ее то, что она проспала смертоубийство.

— А если б у Давида случился приступ? — говорит она. — Вдруг я ему нужна, а сама сплю?

— Никто не может весь день работать в магазине, а потом все ночь не спать, — отзывается он, Симон. — Давай ночные дежурства возьми я.

Они меняются ролями. Когда ватага детей уходит после обеда, он уходит вместе с ними. Ужинает дома и спит час-другой, успевает на последний автобус до больницы и отпускает Инес.

Благодаря своему влиянию на персонал в кухне — власть его в больничных стенах кажется беспредельной — Дмитрий обеспечивает Давиду сливочную кашу на завтрак, картофельное пюре с фасолью на вечер.

— Ничто не чересчур для юного владыки, — говорит он, нависая над Давидом, смотрит, как тот ест, хотя ест Давид, как птичка.

Всем поголовно медсестрам Дмитрий не нравится, и его, Симона, это не удивляет. Когда Дмитрий появляется в отделении, сестра

Рита взбрыкивает сильнее прочих, не отзывается, если он обращается к ней. С ним вроде бы ладит лишь учительница, сеньора Девиго. Он, Симон, все увереннее считает: между этими двоими что-то есть. По спине мурашки. Что притягивает ее к мужчине, о котором известно, что он убийца?

Он прекрасно знает, что Дмитрий у него за спиной насмехается над ним как над «разумным человеком» — человеком, чьи страсти всегда подвластны ему. *Каким был бы мир, если бы все мы подчинились закону разума?* — спросил Дмитрий как-то раз и сам себе ответил: — *Мир скучный, воистину скучный.* Он, Симон, сказал бы так: *Может, и скучный, но все равно такой лучше мира, где правит страсть.*

Лекарства, которые мальчику дают с вечерней едой, должны подавлять приступы, погружать в глубокий сон. Глухой ночью он иногда просыпается и дремотно улыбается.

— У меня сны, Симон, — шепчет он. — Мне снятся сны, даже когда глаза у меня открыты.

— Это хорошо, — шепчет он, Симон, в ответ. — Спи дальше. Про сны расскажешь мне утром. — И под голубым светом ночника он, Симон, держит руку у мальчика на лбу, пока Давид не засыпает.

Время от времени мальчик полностью в сознании, и можно поговорить.

— Симон, когда я умру, вы с Инес сделаете ребенка? — бормочет мальчик.

— Нет, конечно же. Во-первых, ты не умрешь. Во-вторых, у нас с Инес нет такого чувства друг к другу — такого, от которого рождаются дети.

— Но вы с Инес можете совершить половой акт, да?

— Можем, но у нас нет на это желания.

Долгая пауза, мальчик осмысляет. Когда подает голос, он еще слабее.

— Почему я должен быть тем мальчиком, Симон? Я никогда не хотел быть тем мальчиком с таким именем.

Он, Симон, ждет продолжения, но мальчик засыпает. Положив голову на руки, он тоже засыпает — неглубоко. Вдруг с первым светом утра доносится птичья песня. Он, Симон, идет в туалет. Когда возвращается, мальчик уже проснулся, лежит, подтянув колени к подбородку.

— Симон, — говорит он, — меня признают?

— Признают? Признают как героя? Конечно. Но сперва надо натворить дел — таких, чтоб люди тебя запомнили, и дела эти должны быть хорошими. Ты видел, как Дмитрий попытался стать знаменитым, вытворив дурное, и где теперь Дмитрий? Забыт. Не признан. Тебе нужно вершить хорошие дела, и тогда кто-нибудь сочинит о тебе книгу, где опишет твои многочисленные подвиги. Вот как это обычно быва-

ет. Так признали Дон Кихота. Если бы сеньор Бененгели не возник и не написал книгу о его делах, Дон Кихот так и остался бы просто сумасшедшим стариком, который ездит по округе на коне, никем не признанный.

— Но кто напишет книгу о моих делах? Ты напишешь?

— Да, напишу, если хочешь. Писатель из меня никудышный, но я очень постараюсь.

— Тогда дай мне слово не понимать меня. Когда ты пытаешься меня понять, все портится. Даешь слово?

— Ладно, даю слово. Я просто расскажу твою историю, как сам ее знаю, не пытаюсь понять ее, с того самого дня, как мы познакомились. Я расскажу о корабле, привезшем нас сюда, и о том, как мы с тобой отправились на поиски Инес и нашли ее. Расскажу, как ты пошел в школу в Новилле, и как тебя перевели в школу для трудновоспитуемых детей, и как ты сбежал, и как мы все приехали в Эстреллу. Я расскажу, как ты поступил в Академию к сеньору Арройо и стал лучшим из всех танцоров. Вряд ли стану писать что бы то ни было о докторе Фабриканте и его приюте. Пусть остается вне этой истории. А затем, конечно же, я расскажу обо всех делах, которые ты понаделал после выписки из больницы, после того как тебя вылечили. Наверняка их будет много.

— А какие будут мои лучшие дела? Когда я танцевал — это хорошее дело?

— Да, когда ты танцевал, у людей открывались глаза на то, чего они раньше не видели. Поэтому твои танцы можно считать хорошим делом.

— Но я не очень много хороших дел наделал в жизни, да? Не очень много хороших дел, чтоб считаться настоящим героем.

— Еще как наделал! Ты спасал людей, много людей. Ты спас Инес. Ты спас меня. Где бы мы были без тебя? Некоторые твои хорошие дела ты сделал в одиночку, некоторые — при помощи Дон Кихота. Ты пережил все приключения Дона. Дон Кихот был тобой. Ты был Дон Кихотом. Но согласен — большинство хороших дел тебе еще предстоит понаделать. И ты их понаделаешь, когда исцелишься и вернешься домой.

— А Дмитрий? Ты и Дмитрия в книгу не возьмешь?

— Не знаю. Как нужно сделать? Направь меня.

— Думаю, Дмитрия в книгу взять надо. Но, когда окажусь в следующей жизни, я уже не буду этим мальчиком и не буду дружить с Дмитрием. Я стану учителем с бородой. Вот как я решил. Нужно идти в школу, чтобы учителем быть?

— Когда как. Если хочешь учить танцу, Академия, как у сеньора Арройо, лучше любой школы.

— Я хочу учить не просто танцу — я хочу учить всему.

— Если хочешь учить всему, тебе придется ходить во много школ и учиться у многих учителей. Вряд ли тебе это понравится. Может, тебе стоит стать мудрецом, а не учителем. Чтобы быть мудрецом, в школу ходить не надо. Просто отрастишь бороду и станешь рассказывать истории, а люди усядутся у твоих ног и будут слушать.

На эту подначку мальчик внимания не обращает.

— Что означает *confesar*? — спрашивает он. — В книге говорится, что, когда Дон Кихот понял, что умирает, он решил *confesarse*.

— Исповедь — обычай, которому люди следовали в давние времена. Боюсь, ничего большего я об этом не знаю.

— *Confesarse* — то, что Дмитрий совершил после того, как он убил Ану Магдалену?

— Не совсем. Когда исповедуешься, надо быть искренним, а Дмитрий не искренен никогда. Он всем врет, включая себя самого.

— А мне нужно исповедаться?

— Тебе? Конечно, нет. Ты невинный ребенок.

— А что означает *abominar*? Написано, что Дон Кихот *abominó* свои истории.

— Это означает, что он от них отрекся. Он больше в них не верил. Передумал и решил, что

они скверные. Почему ты все это у меня спрашиваешь?

Мальчик молчит.

— Давид, Дон Кихот жил в давние времена, когда люди были очень строги к тому, какие истории допустимы. Они делили все истории на хорошие и скверные. Скверные истории слушать не полагалось, потому что они уводили с пути добродетели. От них полагалось отречься, как Дон Кихот отрекся от своих историй, перед тем как умереть. Но, прежде чем решишь отречься от своих историй — если ты на это намекаешь, — имей в виду три вещи. Во-первых, в твоём мире, который не столь суров, как был мир давний, ни одна твоя история про Дон Кихота не считается скверной. Вот мое мнение, и, я уверен, твои друзья с ним согласятся. Во-вторых, Дон Кихот решил отречься от своих историй, потому что был на смертном одре. Ты — не на смертном одре. Напротив, у тебя впереди долгая увлекательная жизнь. И в-третьих, Дон Кихот не по-настоящему отрекся от своих историй. Он так сказал, чтобы закруглить книгу — книгу о нём самом. Говорил в том духе, который называется иронией, пусть даже он это слово и не употребил. Если бы на самом деле отрекся от своих историй, он бы не стал поддерживать само стремление людей эти истории записать. Сидел бы дома со своим конем и псом, смотрел, как плывут

по небу облака, надеялся на дождь, ел на ужин грубый хлеб с луком. Его бы никогда не признали, какое там прославили. А вот у тебя — у тебя есть все возможности прославиться. Вот и все. Прости, что получилась такая длинная речь в такую рань. Спасибо, что выслушал. Теперь уж я умолкну.

В следующий вечер они продолжают разговор. Мальчик зримо сонный, но сопротивляется лекарствам, силится бодрствовать.

— Мне страшно, Симон. Когда засыпаю, там плохие сны, они меня поджидают. Я пытаюсь от них убежать, но не могу, потому что больше не могу бегать.

— Расскажи мне про те плохие сны. Иногда, если для снов находятся слова, эти сны теряют свою власть над нами.

— Я уже рассказал свои сны врачу, но не помогло, они возвращаются.

— Какому врачу? Доктору Рибейро?

— Нет, новому врачу с золотым зубом. Я рассказал ему свои сны, и он их записал в блокнот.

— Он что-то сказал про них?

— Нет. Спросил меня о матери и отце, моих настоящих матери и отце. Спросил, помню ли я их.

— Не приходит мне на ум ни один врач с золотым зубом. Ты знаешь, как его зовут?

— Нет.

— Я спрошу доктора Рибейро о нем. А теперь тебе надо поспать.

— Симон, как это — умирать?

— Я тебе отвечу, но при одном условии. Условие такое: мы договариваемся, что речь не о тебе. Ты не умрешь. Если мы говорим о смерти, мы говорим о ней абстрактно. Согласен на такое условие?

— Ты говоришь, что я не умру, только потому, что отцам полагается так говорить. Но я же правда не умру, да?

— Конечно! Итак, ты согласен на мое условие?

— Да.

— Очень хорошо. Как это — умирать? Как я это себе представляю, ты лежишь, глядя в синеву неба, и тебе все сильнее хочется спать. На тебя нисходит великий покой. Ты закрываешь глаза — и нет тебя. Когда просыпаешься, ты уже на корабле, плывущем через океан, в лицо ветер, над головой кричат чайки. Все кажется свежим и новым. Словно в тот самый миг родился заново. Никаких воспоминаний о прошлом, никаких воспоминаний о смерти. Мир нов, ты нов, в теле у тебя новая сила. Вот как это.

— Я Дон Кихота увижу в новой жизни?

— Конечно. Дон Кихот будет ждать на пристани — встречать тебя. Когда люди в мундирах попытаются остановить тебя и прицепить тебе к рубашке карточку с новым именем и новой

датой рождения, он скажет: «Пропустите его, *caballeros*. Это *David el famoso*, прославленный Давид, коим я премного доволен». Он посадит тебя к себе за спину на Росинанта, и вы вдвоем отправитесь творить хорошие дела. У тебя будет возможность рассказать ему свои истории, а он тебе расскажет свои.

— Но мне же придется говорить на другом языке?

— Нет. Дон Кихот говорит по-испански, вот и ты будешь говорить по-испански.

— Знаешь, что я думаю? Я думаю, Дон Кихоту надо явиться *сюда*, и хорошие дела нам надо творить *здесь*.

— Это было бы здорово. Эстрелла б точно встряхнулась, окажись тут Дон Кихот. К сожалению, вряд ли такое допустимо. Это против правил — вызывать людей из следующей жизни обратно в эту.

— Но откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что допустимо, а что нет?

— Я не знаю, откуда я знаю, так же как и ты не знаешь, откуда ты знаешь те странные песни, какие поешь. Но мне кажется, что правила устроены вот так — правила, по которым мы живем.

— А что, если нет никаких новых жизней? Что, если я умру и не проснусь? Чем я буду, если не проснусь?

— Как так — «никаких новых жизней»?

— Ну вдруг новые жизни кончатся — как числа, как все остальное? Чем я буду, когда просто умру?

— Так, у нас с тобой начинается разговор на языке, который называется философией, мой мальчик. Ты уверен, что хочешь осваивать новый язык в такой поздний вечер? Не пора ли тебе спать? Можем попробовать силы в философии утром, когда будешь пободрее.

— Мне нужно брать уроки, чтобы говорить по-философски?

— Нет, ты можешь говорить по-философски и по-испански одновременно.

— Тогда я сейчас хочу говорить по-философски! Что случится, если я не проснусь? И почему Дон Кихоту сюда нельзя?

— Дон Кихоту можно переплыть моря и возникнуть здесь, но приходится проделывать это в книге — в такой вот, в какой он появился, придя к тебе. Он не может возникнуть перед нами во плоти. А насчет не проснуться все обстоит так: если мы не просыпаемся совсем, никогда, значит — ничто, ничто, ничто. Вот что я имею в виду под философией. Философия говорит нам, когда больше сказать нечего. Философия говорит нам, когда нужно сесть, успокоить ум и закрыть рот. Никаких больше вопросов, никаких больше ответов.

— Знаешь, что я сделаю, Симон? Перед тем как умереть, я возьму и запишу все о себе

на бумагу, сложу ее много-много раз и крепко зажму в руке. Проснусь в следующей жизни — и тогда смогу прочесть ту бумажку и узнаю, кто я.

— Великолепная мысль — ничего лучшего я давно не слышал. Держись за нее, не дай ей улизнуть. Когда станешь старым-старым стариком, через много лет, когда придет твое время умирать, вспомни, что нужно записать свою историю и пронести ее с собой в следующую жизнь. Тогда в следующей жизни будешь знать, кто ты такой, и все, кто прочтет твою историю, тоже узнают, кто ты такой. Взаправду прекрасная мысль! Главное, постарайся не макать ту руку, которая с бумагой, в воду: помни, вода смывает все, включая написанное. А теперь точно пора спать, мой мальчик. Закрывай глаза. Давай руку. Если проснешься и тебе понадобится что-то, я буду рядом.

— Но я не хочу быть этим мальчиком, Симон! В следующей жизни я хочу быть собой, а не этим мальчиком. Можно так?

— Правило гласит, что у тебя нет выбора. Правило гласит, что тебе придется быть тем, кто ты есть, и никем иным. Но ты никогда не слушался правил, а? Поэтому в следующей жизни наверняка сможешь быть тем, кем хочешь. Просто нужно в этом быть сильным и решительным. Кто он, этот мальчик, которым ты не хочешь быть?

— Вот этот. — Он показывает на свое тело, на хворые ноги.

— Это всего лишь неудача, мой мальчик. Как я тебе говорил на днях, в воздухе вокруг нас полно зловредных маленьких существ, их и не видно вооруженным глазом, такие они маленькие, и у них только одно желание — пробраться в нас и поселиться у нас в организме. В девяносто девяти случаях из ста пробраться у них не получается. А ты просто оказался со-  
тым случаем — неудачным. Чего о ней толковать, о неудаче? Засыпай.

## Глава 16

Назавтра, когда он приезжает в больницу, у постели Давида сидит кто-то, кого он, Симон, сперва не узнает: женщина, облаченная в длинное темное платье с воротником, похожим на раф, седые волосы туго стянуты. И, только подойдя ближе, он узнает Альму — третью из сестер, приютивших их у себя на ферме, когда они только приехали в Эстреллу, а друзей у них тут не было. Вот как далеко, значит, распространились вести о хвори Давида!

Из кресла в углу встает мужчина: это синьор Арройо, директор Академии музыки.

Он, Симон, приветствует Альму, приветствует Арройо.

— Хуан Себастьян сказал мне, что Давид заболел, и я приехала повидать его лично, — говорит Альма. — Привезла фруктов с фермы. Так давно я тебя не видела, Давид. Мы скучали по тебе. Обязательно заезжай к нам, когда тебе станет лучше.

— Я умру, поэтому не заеду.

— Вряд ли тебе стоит умирать, мой мальчик. Это разобьет слишком много сердец. Мое сердце это разобьет, и Симона, разумеется, и твоей матери, и Хуана Себастьяна — и это лишь начало. Кроме того, ты разве не помнишь послание, о котором говорил мне, важное послание? Если умрешь, ты не сможешь его доставить, и никто из нас никогда не узнает, что же в нем было. Поэтому, мне кажется, тебе следует приложить все силы, чтобы выздороветь.

— Симон говорит, я номер сто — номер сто должен умереть.

Встревает он, Симон.

— Я говорил о статистике, Давид. Я говорил в процентах. Проценты — это не настоящая жизнь. Ты не умрешь, но, даже если б умирал, это не потому, что ты номер сто, или номер девяносто девять, или еще какой-нибудь номер.

Давид не обращает на него внимания.

— Симон говорит, что в следующей жизни я смогу быть кем-то еще — мне не надо будет становиться этим мальчиком и нести послание.

— Тебе разве не нравится быть этим мальчиком?

— Нет.

— Если тебе не нравится быть этим мальчиком, кем бы ты предпочел быть, Давид, в следующей жизни?

— Я бы предпочел быть нормальным.

— Экая же будет потеря! — Она кладет руку ему на голову. Он закрывает глаза; на лице у него появляется напряженная сосредоточенность. — Как бы хотелось мне, чтобы в следующей жизни мы с тобой встретились вновь и продолжили эти наши разговоры. Но, по твоим словам, в следующей жизни мы, наверное, будем кем-то еще. Какая жалость! Что ж, нам пора прощаться, мне надо успеть на автобус. До свидания, молодой человек. Я совершенно точно тебя не забуду — в этой-то жизни. — Она целует его в лоб, поворачивается к сеньору Арройо. — Сыграешь для нас, Хуан Себастьян?

Сеньор Арройо открывает скрипичный футляр, быстро настраивает инструмент и принимается играть. Эту музыку он, Симон, прежде не слышал, но Давид откликается на нее улыбкой полного восторга.

Пьеса завершается. Арройо опускает смычок.

— Пора танцевать, Давид? — говорит он.

Мальчик кивает.

Арройо повторяет пьесу от начала и до конца. Глаза у Давида закрыты, он совершенно неподвижен, наедине со своим миром.

— Ну что ж, — говорит Арройо. — Теперь мы тебя оставим.

Один его сослуживец из вестников-велосипедистов показывает ему газету.

— Это не твой ли мальчик? — спрашивает

он, тыкая пальцем в фотографию серьезного Давида, сидящего на кровати с букетом цветов на коленях, рядом с ним — дети из приюта. Позади него царит сеньора Девиго. Вопреки золотым кудрям и свежему пригожему лицу у ее образа есть жутковатое свойство, которое ему, Симону, не удастся уловить.

«Врачей озадачивает таинственное заболевание», — гласит заголовок. Он, Симон, читает дальше. «Врачи в педиатрическом отделении городской больницы озадачены таинственным заболеванием, возникшим в приюте «Лас Манос». Среди симптомов — резкое похудание и одряхление мышечной ткани.

Случай юного Давида, первого слегшего от этой болезни, осложняется тем, что у него особая группа крови — врачи называют ее редчайшей. Попытки отыскать что-то подходящее среди запасов крови пока оказались безуспешными, невзирая на призывы к донорским центрам по всей стране.

Комментируя этот случай, доктор Карлос Рибейра, глава отделения педиатрии, назвал Давида «отважным пареньком». Недавние сокращения бюджета — помеха, однако, сказал Рибейра, персонал больницы трудится день и ночь, чтобы добраться до сути этой таинственной болезни.

Доктор Рибейра отмел слухи о том, что причина болезни — в паразитах из Рио-Семилу-

на, протекающей по территории «Лас Манос». «Нет никаких оснований считать, что это паразитарное заболевание, — сказал он. — Детям в «Лас Манос» бояться нечего».

Доктор Хулио Фабриканте, директор «Лас Манос», когда к нему обратились за комментарием, назвал Давида «увлеченным футболистом и ценным членом нашего общества». «Его присутствия среди нас сильно не хватает, — сказал он. — Мы ждем стремительного выздоровления».

По итогам этой публикации в «Ла Эстрелла» их с Инес приглашает к себе в кабинет доктор Рибейра.

— Я так же расстроен, как, должно быть, и вы, — говорит он. — Это совершенно против политики больницы — допускать журналистов в палаты. Я побеседовал об этом с сеньорой Девито.

— Мне совершенно плевать на политику больницы, — говорит Инес. — Вы сообщили журналистам, что у Давида таинственное заболевание. Почему вы не сказали об этом нам?

Доктор Рибейра нетерпеливо отмахивается.

— Нет такого понятия в науке — «таинственное заболевание». Это все журналистские приемчики. Мы установили, что у Давида судороги. Мы пока не установили, как именно судороги связаны с симптомами воспаления. Но мы над этим работаем.

— Давид убежден, что он умрет, — говорит он, Симон.

— Давид до этого вел активную жизнь. Теперь он прикован к постели. Можно понять, почему он в результате чувствует себя несколько подавленно.

— Вы заблуждаетесь. Он не подавлен. Внутри его звучит голос, он говорит ему, что он скоро умрет.

— Я врач, сеньор Симон, а не психолог. Но, если вы предупреждаете нас, что у Давида так или иначе проявляется инстинкт смерти, мы ваше предупреждение воспримем всерьез. Я поговорю об этом с сеньорой Девиго.

— Не инстинкт смерти, доктор, — нисколько. Давид не желает умирать. Он видит приближение смерти, и это наполняет его скорбью — или сожалением, я не понимаю, чем именно. Подавленность — совсем не то же самое, что скорбь или сожаление.

— Сеньор Симон, что я могу сказать? Давид страдает от неврологического расстройства, из-за которого у него судороги, — это мы установили. Во время судорог мозг претерпевает, как мы это себе представляем, электрическое короткое замыкание с волновым эффектом на весь остальной организм. В результате не стоит удивляться, что он переживает то, что вы именуете скорбью или сожалением, или слышит голоса, как описываете вы. Он, вероятно, пере-

*Дж. М. Кутзее*

живает и многие другие чувства — чувства, для которых в нашем языке может не найтись слов. Моя работа — вернуть его к норме, к нормальной жизни. Когда он выпишется из больницы, окажется в нормальной среде, займется нормальными делами, голоса исчезнут, прекратятся и разговоры о смерти. А теперь мне необходимо вернуться к делам. — Он встает. — Спасибо, что заглянули. Еще раз приношу извинения за эту неудачную статью в газете. Я серьезно отношусь к вашим тревогам и обсужу их с сеньорой Девиито.

## Глава 17

Проходят дни. Состояние Давида не улучшается. Лекарства, которые он принимает, чтобы облегчить страдания, отняли у него и аппетит: вид у него истощенный, как никогда прежде; мальчик жалуется на головные боли.

Как-то раз вечером, когда они с Инес у постели мальчика вместе, входит сеньора Деви-то, а за ней Дмитрий катит инвалидное кресло.

— Идем, Давид, — говорит молодая учительница. — Время урока астрономии, о котором у нас тобой шла речь. Здорово, да? Небо для нас прекрасно расчистилось.

— Мне сперва надо в туалет.

Он, Симон, помогает мальчику добраться до туалета и поддерживает его, пока Давид выпускает тоненькую струю мочи, темно-желтую от лекарств.

— Давид, ты уверен, что хочешь на этот урок? Ты же понимаешь, что не обязан подчиняться сеньоре Деви-то. Она не врач. Ты можешь отложить это до другого дня, если сейчас не в настроении.

Мальчик качает головой.

— Мне надо. Сеньора Девиго не верит ничему, что я говорю. Я рассказал ей про темные звезды, про звезды, которые не числа, и она сказала, что такого не бывает, я их выдумал. У нее есть карта звезд, и сеньора Девиго говорит, что любая звезда, которой нет на этой карте, — *extravagante*. Она говорит, что я сам *extravagante*, когда рассуждаю о звездах. Она говорит, надо прекращать.

— Что надо прекращать?

— Быть *extravagante*.

— Не понимаю, почему надо прекращать. Наоборот, мне кажется, тебе надо быть *extravagante* сколько влезет. Ты мне никогда не рассказывал про темные звезды. Что это?

— Темные звезды — те, которые не числа. Те, которые числа, — они светятся. Темные звезды хотят быть числами, но не могут. Они ползают, как муравьи, по всему небу, но их не видно, потому что они темные. Можно я пойду?

— погоди. Это интересно. А что еще ты рассказывал сеньоре такого, что она сочла чересчур *extravagante* и не поверила?

Вопреки измождению мальчик оживленно сияет, говоря о небесных телах.

— Я рассказал ей о звездах, которые светятся, — о звездах, которые числа. Я рассказал ей, почему они светятся. Потому что вращаются. Так они творят музыку. И я рассказал ей о звез-

дах-близнецах. Хотел рассказать ей все, но она велела мне прекращать

— А что за звезды-близнецы?

— Я тебе рассказывал недавно, но ты не слушал. У каждой звезды есть звезда-близнец. Одна вращается в одну сторону, другая — в другую. Им нельзя соприкоснуться, иначе они исчезнут и ничего не останется, только пустота, а потому они держатся друг от друга подальше, в разных углах неба.

— Поразительно! И почему, как ты думаешь, сеньора называет все это несурразным?

— Она говорит, что звезды сделаны из камня и светиться не могут, а могут только отражать. Она говорит, что звезды не могут быть числами, потому что математика. Она говорит, что, если б все звезды были числами, Вселенная была б забита камнями и для нас места не осталось бы, и мы бы не смогли дышать.

— И что ты ей на это ответил?

— Она говорит, что мы не можем отправиться жить на звезды, потому что там нет еды и нет воды, звезды мертвые, это просто камни, плавающие в небе.

— Если она считает, что звезды — просто мертвые камни, чего же она тогда хочет вытащить тебя на улицу ночью, чтобы на них смотреть?

— Она хочет рассказать мне про них истории. Думает, что я малыш, который ничего, кроме сказок, не понимает. Идем?

Они возвращаются. Дмитрий сажает мальчика в инвалидное кресло и выкатывает в коридор.

— Идем! — говорит учительница. Он, Симон, и Инес следуют за ней по коридору на улицу, на лужайку, пес трусит за ними.

Солнце уже село, начали проступать звезды.

— Начнем вон оттуда, с восточного горизонта, — говорит сеньора Девиго. — Видишь ту большую красную звезду, Давид? Это Ира, названа в честь древней богини плодородия. Когда Ира сияет, как уголек, это знак, что грядет дождь. А вон те семь ярких звезд видишь, слева, а посередине четыре поменьше? На что они похожи, как думаешь? Какую картинку ты видишь в небе?

Мальчик качает головой.

— Это созвездие Урубубу Майор, Большой Стервятник. Видишь, как с приходом ночи он распахивает крылья все шире и шире? А клюв вон там видишь? Каждый месяц, когда Луна темнеет, Урубубу пожирает все блеклые мелкие звезды вокруг себя, до каких дотянется. Но когда Луна вновь крепнет, она заставляет его вытошнить все звезды. И так оно продолжается месяц за месяцем от начала времен.

Эль Урубубу — одно из двенадцати созвездий на ночном небе. Вон там, ближе к горизонту, — Лос Гемелос, Близнецы, а вон там — Эль Трону, Трон, на четырех ногах и с высокой спинкой. Неко-

торые говорят, что созвездия повелевают нашей судьбой — в зависимости от того, где они были в тот миг, когда мы вступили в эту жизнь. То есть, например, если ты прибыл под знаком Близнецов, тогда история твоей жизни будет историей поиска твоего близнеца, того, кто тебе назначен судьбой. А если под знаком Ла Писарры — Скрижали, тебе предстоит выдавать наставления. Я прибыла под знаком Ла Писарры. Может, поэтому стала учительницей.

— Я собирался быть учителем — перед тем как начал умирать, — говорит мальчик. — Но я ни под каким знаком не прибыл.

— Мы все прибываем под каким-нибудь знаком. В каждый миг времени то или иное созвездие правит небесами. В пространстве могут быть прорехи, а во времени — нет, таково одно из правил Вселенной.

— Мне не обязательно находиться во Вселенной. Я могу быть исключением.

Дмитрий стоит у кресла молча. Но тут заговаривает.

— Я предупреждал вас, сеньорита: юный Давид — не такой, как мы. Он из другого мира, возможно, даже с другой звезды.

Сеньора Девино весело смеется.

— Я забыла! Забыла! Давид — наш гость, наш зримый гость с незримой звезды!

— Может, на небе не двенадцать созвездий, — говорит мальчик, пренебрегая насмеш-

кой. — Может, есть всего одно созвездие, просто вам его не видно, потому что оно слишком большое.

— Но тебе его видно, да? — говорит Дмитрий. — Каким бы большим ни было, тебе его видно.

— Да, мне видно.

— И как оно называется, юный владыка? Каково имя у этого единого большого созвездия?

— У него нет имени. Его имя грядет.

Он, Симон, поглядывает на Инес. Губы у нее поджаты, она осуждающе хмурится, но не произносит ни слова.

— У птиц есть свои карты неба, со своими созвездиями, — говорит сеньора Девиго. — Они с помощью своих созвездий выстраивают полет. Преодолевают громадные расстояния над океаном без всяких ориентиров в нем, но все равно знают, где они. Хотел бы ты быть птицей, Давид?

Мальчик молчит.

— Если б у тебя были крылья, ты бы уже не зависел от своих ног. Не был бы привязан к земле. Был бы свободным — вольным существом. Тебе бы хотелось так?

— Мне уже холодно, — говорит мальчик.

Дмитрий снимает с себя куртку санитаря, набрасывает на Давида. Даже в смутном свете видны густые темные волосы, укрывающие грудь и плечи Дмитрия.

— А как же числа, Давид? — спрашивает сеньора Девиго. — Помнишь, у нас на днях был урок, посвященный числам, и ты нам рассказывал, что звезды — это числа, но мы тебя не поняли, то есть поняли не до конца. Мы не поняли, да, Дмитрий?

— Мы силились своими умами, но понять не смогли, это оказалось выше нас, — сказал Дмитрий.

— Расскажи нам о числах, которые ты видишь, когда смотришь на звезды, — говорит сеньора Девиго. — Когда ты смотришь на Иру, красную звезду, например, какое число возникает у тебя в голове?

Настал черед Симону вмешаться. Но не успевает он открыть рот, берет слово Инес.

— Думаете, я не вижу вас насквозь, сеньора? — цедит она. — Вы делаете милое лицо, изображаете невинность, но сами все время насмехаетесь над ребенком — и вы, и этот человек. — Она сдергивает куртку Дмитрия с плеч мальчика и в ярости швыряет ее в сторону. — Стыдитесь! — В сопровождении Боливара она устремляется прочь, толкая перед собой кресло по бугристой лужайке. В лунном свете он, Симон, успевает глянуть на мальчика. Глаза у него закрыты, лицо расслаблено, на губах — удовлетворенная улыбка. Он выглядывает младенцем у груди матери.

Ему полагается двинуться следом, но он не может не позволить и себе вспышку гнева.

— Зачем смеяться над ним, сеньора? — спрашивает он. — И ты туда же, Дмитрий. Зачем называть его *юным владыкой* и кричать ему вслед «Слава!»? Ты считаешь, это смешно — потешаться над ребенком? У тебя что, нет ни единого человеческого чувства?

Отвечает Дмитрий.

— А, да ты заблуждаешься во мне, Симон! Зачем мне насмехаться над юным Давидом, когда лишь в его власти спасти меня из этой адской пропасти? Я зову его своим владыкой, потому что он и есть мой владыка, а я его покорный слуга. Все вот так просто. А ты сам? Он же и тебе владыка, и разве сам ты не в своей собственной адской пропасти, разве не вопиешь ты оттуда, чтобы тебя спасли? Или ты решил держать рот на замке и жать на педали велосипеда своего в этом захолустном городке, пока не осядешь в доме престарелых со своим похвальным листом за хорошее поведение и с медалью за достойную службу? Безупречно прожитая жизнь тебя не спасет, Симон! И мне нужно, и тебе, и Эстрелле, чтобы явился кто-то и встряхнул нас новым видением. Не согласна ли ты, любовь моя?

— То, что он говорит, правда, Симон, — произносит сеньора Девиго. Подбирает куртку Дмитрия оттуда, куда ее бросила Инес («Надень, *amor*, простудишься!»). — Я готова за это поручиться. Дмитрий — самый приверженный

последователь Давида в целом свете. Он любит его всем сердцем.

Она, похоже, искренна, но с чего ему, Симону, ей верить? Она, может, и заявляет, что сердце Дмитрия принадлежит Давиду, но его, Симона, сердце подсказывает ему, что Дмитрий — лжец. Чьему сердцу верить: сердцу убийцы Дмитрия или сердцу *Simón el Lerdo*, Симона Тугодума? Кто знает? Без единого слова он разворачивается и, спотыкаясь, бредет на свет больницы, где Инес уже уложила мальчика в постель и растирает его ледяные ноги ладонями.

— Прошу тебя, проследи, чтобы у этой женщины больше не было контактов с Давидом, — велит она. — В противном случае мы забираем его из больницы.

— Почему ты сказала, что она смеется надо мной? — спрашивает мальчик. — Я не видел, что она смеется.

— Нет, тебе не увидеть. Они смеются над тобой исподтишка, оба.

— Но почему?

— Почему? Почему? Не спрашивай меня почему, дитя! Потому что ты говоришь странное! Потому что они дураки!

— Можешь забрать меня домой прямо сейчас.

— Ты хочешь домой? Ты это имеешь в виду?

— Да. И Боливар. Боливару тут не нравится.

— Тогда поехали немедленно. Симон, заверни его в одеяло.

Однако путь наружу преграждает сеньора Девито, Дмитрий — при ней.

— Что тут происходит? — хмуро спрашивает она.

— Симон и Инес забирают меня, — говорит Давид. — Они дадут мне помереть дома.

— Ты здесь пациент. Ты не можешь уйти, пока тебя не выпишет врач.

— Тогда зовите врача! — говорит Инес. — Сейчас же!

— Я позову дежурного врача. Но предупреждаю вас: решать, может Давид уйти или нет, только врачу и больше никому.

— Ты уверен, что хочешь нас оставить, молодой человек? — спрашивает Дмитрий. — Мы без тебя будем безутешны. Ты приносишь радость в это пропащее место. Подумай о своих друзьях. Они явятся завтра, ожидая тебя увидеть, ожидая посидеть у твоих ног, а твоя палата окажется пустой, тебя в ней не будет. Что я им скажу? *Юный владыка сбежал? Юный владыка оставил вас?* Их сердца будут разбиты.

— Они могут приходиться к нам в квартиру, — говорит мальчик.

— А как же я? Как же старик Дмитрий? Пустят ли Дмитрия в прелестную квартиру сеньоры Инес? А красотке сеньорите, твоей учительнице, — ей будут ли там рады?

Сеньора Девиго возвращается с молодым человеком — вид у него затравленный.

— Вот мальчик, — говорит сеньора Девиго, — тот самый, с так называемой таинственной болезнью. А это Инес и Симон.

— Вы родители? — спрашивает молодой врач.

— Нет, — говорит он, Симон, — Мы...

— Да, — говорит Инес, — мы родители.

— А кто ведет этого пациента?

— Доктор Рибейро, — говорит сеньора Девиго.

— Простите, но я не могу его выписать, пока не получу разрешение от сеньора Рибейро.

Инес подбирается.

— Мне не нужно ничье разрешение, чтобы забрать домой своего ребенка.

— У меня нет таинственной болезни, — говорит мальчик. — Я — число сто. Сто — не таинственное число. Число сто — такое число, которому полагается умереть.

Врач смотрит на него сердито.

— Статистика устроена иначе, молодой человек. Не умрете вы. Это больница. Мы тут не даем детям помереть. — Он оборачивается к Инес: — Приходите завтра и поговорите с доктором Рибейро. Я оставлю ему записку. — Обращается к Дмитрию: — Заберите нашего юного друга обратно в палату, будьте добры.

И что здесь делает собака? Вы же знаете, что с животными нельзя.

Инес не снисходит до спора. Вцепившись в ручки инвалидного кресла, она проталкивается мимо врача.

Дмитрий преграждает ей путь.

— Материнская любовь, — говорит он. — Почетно видеть ее, она трогает сердце. Воистину. Но мы не позволим вам забрать нашего юного владыку.

Он тянется к коляске, от Боливар доносится глухой рык. Дмитрий убирает преступную руку, но продолжает стоять на пути у Инес. Пес вновь рычит, самым горлом. Уши прижаты, верхняя губа поднята, обнажены длинные желтеющие зубы.

— С дороги, Дмитрий, — говорит он, Симон.

Пес делает первый медленный шаг к Дмитрию, второй. Дмитрий не отступает.

— Боливар, стоять! — командует мальчик.

Пес замирает, не сводит взгляда с Дмитрия.

— Дмитрий, пропусти! — велит мальчик.

Дмитрий пропускает.

Молодой врач обращается к Дмитрию.

— Кто вообще позволил привести это опасное животное на территорию? Вы?

— Это не опасное животное, — говорит мальчик. — Это мой страж. Он меня стережет.

Никто и пальцем их не трогает, они покидают больницу. Он, Симон, поднимает мальчика

на заднее сиденье автомобиля Инес, пес запрыгивает туда же; инвалидное кресло они бросают на парковке.

Он обращается к Инес.

— Инес, ты была великолепна.

Это правда: никогда прежде не видел он ее столь же решительной, столь же властной, столь же царственной.

— Боливар тоже был великолепен, — говорит мальчик. — Боливар — царь псов. Мы снова будем семьей?

— Да, — говорит он, Симон, — мы снова будем семьей.

## Глава 18

Примерно в полночь начинается новый приступ, припадки следуют один за другим почти без перерывов. Отчаявшись, он, Симон, едет в больницу и умоляет ночную медсестру выдать мальчику лекарства. Она отказывается.

— Вы ведете себя почти преступно, — говорит она. — Нельзя было позволять, чтобы вы забрали мальчика. Вы понятия не имеете, до чего серьезно он болен. Давайте адрес, я немедленно вышлю машину «Скорой помощи».

Через два часа мальчик вновь оказывается на своей больничной койке в глубоком лекарственном сне.

Доктор Рибейро, когда ему докладывают, что произошло накануне ночью, переполняется холодным гневом.

— Я могу запретить вам доступ в больницу, — говорит он. — Я мог бы его запретить, даже если б вы были родителями этого ребенка, а вы ему не родители, — запретить и вам, и этому вашему дикому псу. Что вы за люди такие?

Они с Инес стоят бесшлосесно.

— Прошу вас, уезжайте сейчас же, — говорит доктор Рибейро. — Отправляйтесь домой. Персонал позвонит вам, когда ребенок стабилизируется.

— Он не ест, — говорит Инес. — Он похож на скелет.

— Мы за этим присмотрим, не волнуйтесь.

— Он говорит, что не голоден. Говорит, что ему больше не нужна еда. Я не понимаю, что на него нашло. Меня это пугает.

— Мы за этим присмотрим. Езжайте домой.

На следующий день Инес звонит сестра Рита.

— Давид просит позвать вас, — говорит сестра Рита. — Вас и вашего мужа. Доктор Рибейро согласен на ваше посещение, но всего несколько минут — и без собаки. Собака запрещена.

Даже за эти два дня перемены в Давиде поразительные. Он сжался, словно вновь стал шестилеткой. Лицо бледное, вытянутое. Губы двигаются, но слова не вылепливаются. Во взгляде — беспомощная мольба.

— Боливар, — сипит он.

— Боливар дома, — говорит он, Симон. — Он отдыхает. Восстанавливает силы. Он скоро придет с тобой повидаться.

— Моя книга, — хрипит мальчик.

Он, Симон, отправляется искать сестру Риту.

— Он просит свою книгу о Дон Кихоте. Я ее искал, но нигде не могу найти.

— Я сейчас занята. Поищу позже, — говорит сестра Рита. В тоне слышен непривычный холод.

— Простите за то, что случилось прошлой ночью, — говорит он. — Мы не понимали, что творим.

— Извинениями делу не поможешь, — говорит сестра Рита. — Делу помогло бы, если бы вы не путались под ногами. Если бы позволяли нам выполнять свои обязанности. Если бы признали, что мы тут делаем все посильное, чтобы спасти Давида.

— Мы с тобой здесь, похоже, не очень популярны, — говорит он Инес. — Может, вернешься в магазин? Я побуду.

Он пытается купить в буфете сэндвич, но ему отказывают («Извините, только для персонала».).

Когда в тот вечер появляется приверженная когорта юных друзей Давида, их не пускает сестра Рита.

— Давид слишком устал, ему не до посетителей. Приходите завтра.

В конце дня он вылавливает сестру Риту на ее пути домой.

— Вы нашли книгу? — Она смотрит на него недоуменно. — «Дон Кихота». Книгу Давида. Нашли?

— Я поищу, когда у меня будет время, — говорит она.

Он бродит по коридору, в желудке у него бурчит от голода. После того как мальчику дали все лекарства и подготовили ко сну, он, Симон, тихонько проскальзывает в палату, вытягивается в кресле, засыпает.

А просыпается от настойчивого шепота.

— Симон! Симон!

Он мгновенно настороже.

— Я вспомнил еще одну песню, Симон, но спеть не могу, очень болит горло.

Он помогает мальчику попить.

— От красных пилюль у меня голова кружится, — говорит мальчик. — Я обязан их пить? У меня будто пчелы жужжат в голове, жжж-жжж-жжж. Симон, в следующей жизни я совершу половой акт?

— Ты и в этой жизни совершишь половой акт, когда подрастешь, и в следующей тоже, и во всех дальнейших жизнях — это я тебе обещаю.

— Когда я был маленький, я не знал, что такое половой акт, а теперь знаю. Да, Симон, когда же появится кровь?

— Новая кровь? Сегодня — в крайнем случае завтра.

— Это хорошо. Ты знаешь, что говорит Дмитрий? Он говорит, что, когда мне вольют новую кровь, моя болезнь отпадет и я встану в полной славе моей. Что такое слава моя?

— Слава — это как бы такой свет, который излучают люди, которые очень сильны и очень здоровы, как спортсмены или танцоры.

— Но, Симон, зачем ты прятал меня в шкафу?

— Когда это я прятал тебя в шкафу? Не помню такого.

— Да, прятал! Когда я был маленький, какие-то люди пришли ночью, и ты запер меня в шкафу и сказал им, что у тебя нет детей. Не помнишь?

— А, теперь помню! Те люди, которые приходили ночью, — это счетчики населения. Я тебя спрятал, чтобы они тебя не превратили в число и не занесли в свой счетный список.

— Ты не хотел, чтобы я передал им свое послание.

— Это неправда. Я это ради тебя сделал — спрятал, чтобы спасти тебя от подсчета. Какое ты собирался передать им послание?

— Мое послание. Симон, как сказать *aquí* на другом языке?

— Не знаю, мой мальчик, у меня плохо с языками. Я тебе уже говорил: *aquí* есть *aquí*. Одинаково, на каком бы языке ты ни говорил. Здесь — это здесь.

— Но как сказать *aquí* другими словами?

— Я не знаю никаких других слов для этого. Все понимают, где это — здесь. Зачем тебе другие слова?

— Хочу знать, почему я здесь.

— Ты здесь, чтобы нести свет в нашу жизнь, мой мальчик, — в жизнь Инес, в мою жизнь и в жизни всех людей, кто встречается тебе на пути.

— И в жизнь Боливара.

— И в жизнь Боливара. Поэтому ты здесь. Все вот так просто.

Мальчик словно не слышит. Глаза у него закрыты, словно он прислушивается к далекими голосам.

— Симон, я падаю, — шепчет он.

— Ты не падаешь. Я тебя держу. Это просто головокружение. Оно пройдет.

Постепенно мальчик возвращается — где бы он ни был.

— Симон, — говорит он, — есть сон, всегда один и тот же. Я все попадаю и попадаю в него. Я в шкафу и не могу дышать — и не могу выбраться. Сон не уходит. Он ждет, когда я приду.

— Мне очень жаль. От всего сердца прошу меня простить. Я не осознавал, когда прятал тебя от тех людей, что это оставит у тебя такие дурные воспоминания. Если такое тебя утешит, сеньор Арройо своих сыновей тоже прятал — Хоакина и Дамиана, чтобы их не превратили в числа. Что же за послание ты бы передал счетчикам, если б я не спрятал тебя в шкафу?

Мальчик качает головой.

— Еще не время.

— Еще не время для твоего послания? Еще не время мне его услышать? Что ты имеешь в виду? А когда настанет время?

Мальчик молчит.

Как только сестра Рита появляется на службе — безоговорочно выставляет его, Симона, из палаты Давида.

— Вы не слышали, что сказал доктор Рибейро, сеньор? Нет от вас добра мальчику! Езжайте домой! Хватит вмешиваться!

Он едет на автобусе в центр города, заказывает себе большущий завтрак, заглядывает к Инес в «Модас Модернас». Они сидят вместе у нее в кабинете в глубине магазина.

— Я всю ночь просидел с Давидом, — говорит он. — Выглядит он хуже прежнего. Лекарства тянут из него силы. Он хотел мне спеть — у него новая песня, но не смог, слишком слаб. Все время толкует о крови, о крови, которая скоро приедет поездом и спасет его. Все его надежды — на это.

— Что ты собираешься делать? — спрашивает она.

— Я не знаю, моя дорогая, я не знаю. Я совсем отчаялся.

*Querida.* Раньше он никогда ее так не называл.

— Я собираюсь встретиться сегодня вечером с новым врачом, — говорит она. — Не из боль-

ничных. Независимым. Его рекомендует Ино-сенсия. Говорит, он исцелил ребенка ее соседей, когда обычные врачи сдались. Хочу, чтобы он приехал в больницу и осмотрел Давида. В доктора Рибейро у меня веры больше нет.

— Хочешь, я поеду с тобой?

— Нет. Ты все только усложнишь.

— Я, значит, все усложняю?

Она молчит.

— Что ж, — говорит он. — Надеюсь, этот независимый врач — настоящий, с настоящими удостоверяющими документами, иначе его и близко к Давиду не подпустят.

Инес встает.

— Зачем ты так негативно ко всему, Симон? Что важнее: что Давид исцелится или что мы последуем правилам и установкам этой их больницы?

Он склоняет голову, удаляется.

## Глава 19

Поскольку в больнице существует свой регламент, кого оповещать в чрезвычайных случаях, его, Симона, и Инес не вызывают к его постели, когда пульс у Давида становится прерывистым, дыхание — затрудненным и врачи начинают готовиться к худшему. Звонок поступает в кабинет доктора Фабриканте в приюте, а оттуда — к сестре Луисе в лазарет. Сестре Луисе недосуг, она занимается мальчиком с лишаем, и, когда приезжает в больницу, Давида уже объявили мертвым, причину смерти предстоит установить; палата, где он умер, закрыта до особого распоряжения (так гласит табличка на двери) для всех, кроме уполномоченного персонала.

Сестру Луису просят подписать заявление о приемке на себе всех обязанностей по организации похорон. Она благоразумно отказывается и желает сперва посоветоваться со своим начальником, доктором Фабриканте.

Когда он, Симон, приезжает в тот день после обеда, он натывается на то же распечатанное

сообщение: «ЗАКРЫТО ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ». Он пробует дверную ручку, дверь заперта. Он спрашивает на стойке информации: *Где мой сын?* Женщина за конторкой делает вид, что не знает. *Его, судя по всему, переместили,* — вот все, что она готова сказать.

Он возвращается к палате, пинает дверь, пока не ломается замок. Постель пуста, палата безлюдна, в воздухе — запах антисептика.

— Его здесь нет, — говорит голос Дмитрия у него за спиной. — И поверь этому тебе придется заплатить за поломку двери.

— Где он?

— Хочешь посмотреть? Я тебе покажу.

Дмитрий ведет его лестничным маршем в подвал, затем по коридору, заваленному картонными коробками и заброшенным оборудованием. На кольце с ключами выбирает один, отпирает дверь с отметкой № 5. Давид лежит голый на столе с мягкой обивкой — на таких обычно гладят белье, в изголовье у него гирлянда праздничных огней, мигает то красным, то синим, в ногах — букет лилий. Истошенные конечности с распухшими суставами смотрятся в смерти менее несуразно, чем в жизни.

— Я принес и огоньки, — говорит Дмитрий. — Мне кажется, они уместны. Цветы — из приюта.

Ему, Симону, кажется, что у него из легких выкачали воздух. *Это все подстроено,* — думает

он, но ощущает за этой мыслью панику. — *Если подыграю*, — думает он, — *если сделаю вид, что все по-настоящему, тогда оно кончится, Давид сядет и улыбнется и все будет как раньше. Но самое главное*, — думает он, — *Инес нельзя об этом знать, Инес надо защитить, ее это сокрушит, сокрушит!*

— Убери огоньки, — говорит он.

Дмитрий не шевелится.

— Как это произошло? — спрашивает он, Симон. В комнате нет воздуха, он едва слышит собственный голос.

— Его больше нет, как сам видишь, — говорит Дмитрий. — Органы этого тела не смогли больше выдерживать, бедное дитя. Но в более глубоком смысле он есть. В глубоком смысле он все еще с нами. Вот во что я верю. Убежден, ты чувствуешь то же самое.

— Не лезь рассказывать мне о моем ребенке, — шепчет он, Симон.

— Это не твой ребенок, Симон. Он принадлежал нам всем.

— Уходи. Оставь меня с ним.

— Мне нельзя, Симон. Мне надо запереть комнату. Таково правило. Но не спеши. Прощайся. Я подожду.

Он, Симон, заставляет себя смотреть на покойника: на изможденные конечности, уже понемногу синеющие, на вялые пустые ладони, на сжавшийся, ни разу не примененный по-

ловой орган, на лицо, замкнутое, словно в задумчивости. Он прикасается к щеке — неестественно холодной. Прижимает губы ко лбу. Затем, не понимая как и почему, он осознает себя на полу, на четвереньках.

*Пусть все закончится, — думает он. — Пусть я проснусь, пусть это будет конец. Или пусть я никогда не проснусь.*

— Не спеши, — говорит Дмитрий. — Это трудно, я знаю.

Он звонит из вестибюля больницы в «Модас Модернас». К телефону подходит Иносенсия. Голос ему, Симону, не принадлежит, нужно прилагать усилия, чтобы его услышали.

— Это Симон, — говорит он. — Скажите Инес, чтоб ехала в больницу. Скажите, чтоб ехала немедленно. Скажите, я буду ждать ее на парковке.

По его лицу, по виду его Инес мгновенно понимает, что случилось.

— Нет! — кричит она. — Нет, нет, нет! Почему ты мне не сказал?

— Тише, Инес. Крепись. Давай руку. Примем это вместе.

Дмитрий околачивается в коридоре, высматривает их.

— Мне очень жаль, — бормочет он. Инес отказывается обращать на него внимание. — Идите за мной, — говорит Дмитрий и быстро шагает вперед.

Цветные огоньки не убрали. Инес смахивает их на пол, лилии тоже; слышен хлопок — лопается лампочка. Она пытается взять мертвого ребенка на руки, голова у него перекатывается вбок.

— Я подожду снаружи, — говорит Дмитрий. — Оставлю вас спокойно горевать.

— Как это случилось? — спрашивает Инес. — Почему ты мне не позвонил?

— Они от меня это скрыли. Они скрыли это от нас обоих. Поверь мне, я позвонил сразу же, как только обнаружил.

— То есть он был один? — спрашивает Инес. Она опускает стиснутое тело на стол, сводит мертвые ноги, складывает безвольные руки. — Он был совсем один? А ты где был?

Где он был? Ему невыносимо думать об этом. В тот миг, когда его ребенок испустил дух, он, Симон, отсутствовал, был рассеян, крепко спал?

— Я просился поговорить с доктором Рибейро, но он, как выясняется, недоступен, — говорит он. — Никто не доступен. Они не хотят нас видеть. Они прячутся, ждут, когда мы уйдем.

Выходя из подвала, они видят удаляющуюся фигуру сеньоры Девиго. Подгоняемый гневом, он бросается за ней.

— Сеньора! — зовет он. — Можно поговорить с вами?

Она делает вид, что не слышит. И, лишь когда он хватается ее за руку, она поворачивается к нему и хмурится.

— Да? Что такое?

— Я не знаю, известно ли вам, сеньора, но мой сын сегодня утром скончался. Мы с его матерью не были рядом, когда подошел конец. Мальчик умер совершенно один. Почему нас не было рядом, можете вы спросить? Потому что нам не позвонили.

— Да? Это не моя ответственность — звонить родственникам.

— Нет, это не ваша ответственность. Ни в чем нет вашей ответственности. Ваш дружок Дмитрий запирает несчастного ребенка от нас, но и это не ваша ответственность. Но это вы вытащили его на холод недавно ночью — ради урока астрономии, кто бы мог подумать. Зачем? С чего вы вдруг решили, что это ваша ответственность — учить больного ребенка идиотским названиям звезд?

— Успокойтесь, сеньор! Давид умер не от глотка ночного воздуха. А вот вы с вашей женой силой забрали его из-под нашей опеки, против его воли и вопреки нашим пожеланиям. Кого, по-вашему, винить в том, что последовало?

— Против его воли? Давид отчаянно желал вырваться из вашей хватки и вернуться домой.

— Сядьте, сеньор. Послушайте меня. Пора вам услышать правду, какой бы неприятной

она ни была. Я знала Давида. Я была его учительницей и его другом. Он мне доверял. Мы провели вместе много часов, пока он изливал мне свою душу. Давид был ребенком глубоко противоречивым. Он *не* хотел возвращаться в то место, которое вы именуете его домом. Напротив, он хотел освободиться от вас и вашей жены. Он жаловался, что в особенности вы его душаете, не даете ему вырасти человеком, которым он хотел быть. Если он не говорил вам этого в лицо, то лишь потому, что не желал вас задеть. Стоит ли удивляться, что весь этот внутренний конфликт начал проявляться на физическом уровне? Нет. Болью и судорогами его тело выражало дилемму, с которой он имел дело, дилемму, которая оказалась для него буквально невыносимой.

— Какая чушь! Никогда вы не были Давиду другом! Он терпел ваши уроки только потому, что был привязан к постели и не мог увернуться. Что же касается вашего диагноза его болезни, то он попросту смехотворен.

— Это не только мой диагноз. По моей рекомендации у Давида было несколько встреч со специалистом-психиатром, и состоялось бы больше, если бы его состояние не ухудшилось. Тот специалист целиком и полностью поддерживает мои предположения о Давиде. Что же касается астрономии, это моя работа — подпитывать интеллектуальные интересы наших де-

тей. Мы с Давидом часто обменивались соображениями о звездах, кометах и тому подобном.

— Обменивались они соображениями! Вы высмеяли его рассказы о звездах. Вы называли их *extravagantes*. Вы сказали ему, что звезды не имеют ничего общего с числами, что это просто камни, плавающие в пространстве. Что вы за учитель такой, если разрушаете вот так детские иллюзии?

— Звезды и вправду камни, сеньор. Числа же, напротив, — человеческое изобретение. Числа не имеют ничего общего со звездами. Ничего. Мы создали числа из пустоты, чтобы употреблять их для счета весов и мер. Но все это к делу не относится. Давид выложил мне свои истории, а я ему свои. Его истории, которые ему скормили, очевидно, в музыкальной академии, показались мне абстрактными и бескровными. Истории, которые ему предложила я, больше подходят для детского воображения. Сеньор Симон, у вас пора испытаний. Я понимаю, вы расстроены. Я тоже расстроена. Смерть ребенка — ужасная штука. Давайте вернемся к этому разговору, когда сможем лучше владеть своими чувствами.

— Напротив, сеньора, давайте завершим эту беседу сейчас, когда наши чувства нам не подвластны. Давид знал, что он умирает. Он находил утешение в вере, что после смерти отправится на небеса, к звездам. Зачем отнимать

*Дж. М. Кутзее*

у него иллюзию? Зачем говорить ему, что его вера несуразна? Вы разве не верите в грядущую жизнь?

— Верю. Верю. Но грядущая жизнь будет на земле, а не среди мертвых звезд. Мы умрем, все мы, и распадемся, и станем материалом для нового поколения. Будет жизнь после этой, но я — того, что я зову «я», — там не будет. Не будет и вашего. И Давидова. А теперь позвольте мне, пожалуйста, уйти.

## Глава 20

Встает вопрос тела, того, что больница именует *los restos físicos* — физическими останками. Приют «Лас Манос» записан как место проживания Давида, а директор приюта — как его опекун, а потому решать, как распорядиться останками, предстоит доктору Фабриканте. Пока доктор Фабриканте не огласит своего решения, за останки отвечает больница: их сохранят в охлаждаемом помещении, куда посторонним доступа нет. Все это он узнает от женщины за конторкой.

— Мне известно помещение, которое вы именуете охлаждаемым, — говорит он ей. — Это на самом деле комната в подвале. Я сам там был, меня впустил один санитар. Сеньора, я не просто посторонний. Последние четыре года мы с женой заботились о Давиде. Мы его кормили, одевали и следили за его благополучием. Мы любили его и дорожили им. Мы просим лишь позволить нам сегодня ночью постеречь его. Умоляем вас! Это же нетрудно. Вы

что, хотите, чтобы несчастный ребенок провел первую ночь своей смерти один? Нет! Сама эта мысль невыносима.

Женщина за конторкой — он не знает ее имени — ему ровесница. В прошлом они ладили. Он не завидует ее работе — иметь дело с сокрушенными родителями, выдерживать официальную линию. Не гордится он собой, вынужденно обращаясь к ней.

— Умоляю вас, — говорит он. — Мы будем тише воды ниже травы.

— Я обсужу это с начальством, — говорит она. — Не следовало ему вас пускать — Дмитрию, если это сделал Дмитрий. Мог налететь на неприятности.

— Я не хочу никому неприятностей. Я прошу совершенно разумного. У вас, я уверен, есть дети. Вы бы со своим ребенком не позволили так поступать — чтобы бедняжка остался один на всю ночь.

За ним в очереди молодая женщина с младенцем на бедре. Он, Симон, обращается к ней.

— Вы бы позволили такое, сеньора? Нет, конечно, не позволили бы.

Молодая мать смущенно отводит взгляд. Он ведет себя бесстыдно, он знает это, но сегодня и день необычайный.

— Я поговорю со своим начальством, — повторяет женщина за конторкой. Ему казалось, что он ей нравится, но, возможно, он

заблуждается. Ничего дружелюбного в ней нет. Она хочет, чтобы он убрался, — заботит ее только это.

— Когда вы поговорите с вашим начальством?

— Когда выдастся возможность. Когда я разберусь с этими людьми.

Он возвращается через час, встает в хвост очереди.

— Каково решение? — спрашивает он, когда подходит очередь. — Насчет Давида.

— Простите, но это не разрешено. Есть объяснения, в которые я не могу вдаваться, но они касаются причины его смерти. Позвольте сказать попросту, что есть правила, которым мы должны следовать.

— В каком смысле — причина смерти?

— Причина смерти не выяснена. Пока причина смерти не выяснена, мы должны следовать правилам.

— И исключений из этих правил нет? Даже ради маленького мальчика в худший день его жизни?

— Это больница, сеньор. То, что произошло, случается здесь ежедневно, и мы скорбим об этом, но ваш мальчик — не исключение.

В суматохе последних дней Давидовых Боливара предоставили самому себе в квартире Инес, не занимались им и только иногда под-

кармливали. Когда они с Инес возвращаются из больницы в тот вечер, пса нет.

Поскольку дверь не была заперта, они в первую очередь решают, что Боливар выл и кто-то из соседей, раздраженный шумом, выпустил пса. Он, Симон, обходит квартал, но Боливар не находит. Подозревая, что пес, возможно, попытался отыскать путь к Давиду, он, Симон, берет машину Инес и едет к больнице. Но там его никто не видел.

Первым делом поутру он звонит в «Лас Манос» и разговаривает с секретаршей Фабриканте.

— Если вдруг в приюте появится крупная собака, вы мне сообщите? — просит он секретаршу.

— Я не любительница собак, — говорит секретарша.

— Я не прошу вас любить эту собаку, достаточно просто сообщить о ее присутствии, — отзывается он. — Это-то вы можете сделать.

Инес — один сплошной упрек.

— Запри ты дверь, всего этого не случилось бы, — говорит она. — Помимо всего прочего.

— Я найду его и верну домой во что бы то ни стало, — обещает он.

*Я верну его.* Не ускользает от него мысль, что мальчика он вернуть не смог.

На маленьком печатном приборе у себя на рабочей базе он печатает листовку, пятьсот

экземпляров: ПРОПАЛА СОБАКА. КРУПНАЯ, РЫЖЕВАТО-БУРОГО ОКРАСА, КОЖАНЫЙ ОШЕЙНИК С МЕДАЛЬОНОМ, НАДПИСЬ БОЛИВАР. НАГРАДА ТОМУ, КТО ВЕРНЕТ. Он раскладывает листовки не только в своей части города, но и в секторах, где работают другие вестники на велосипедах; он клеит их на телеграфные столбы. Занят весь день, весь день стягивает кромки бреша, разверзшейся в ткани бытия.

Вскоре начинает звонить телефон. Крупную собаку рыжевато-бурого окраса видели по всему городу; носит ли эта собака медальон с кличкой Боливар на нем, никто сказать не может, поскольку пес либо слишком проворен и его не поймаешь, либо слишком опасен, к нему не подходят близко.

Он, Симон, записывает имя и адрес каждого звонящего. К концу дня у него тридцать имен и никакого понятия, что делать дальше. Если все позвонившие говорят правду, это может означать, что Боливар возник в кварталах города, расположенных друг от друга очень далеко, практически одновременно. Другая вероятность в том, что некоторые звонки — розыгрыш, или же по городу бесхозно бродит несколько крупных рыжевато-бурых псов. Как бы то ни было, ему, Симону, никаких других вариантов, как отыскать Боливара, настоящего Боливара, в голову не приходит.

— Боливар — умное животное, — говорит он Инес. — Если захочет найти дорогу к нам, он ее найдет.

— А если он ранен? — отзывается она. — А если его сбила машина? Вдруг он погиб?

— Я отправлюсь в Асистенсию завтра утром первым делом и добуду список ветеринаров. Наведаюсь к каждому и оставлю экземпляр листовки. Так или иначе, мы вернем тебе Боливара.

— То же самое ты говорил о Давиде, — произносит Инес.

— Инес, если б я мог поменяться с ним местами, я бы поменялся. Ни на миг не задумываясь.

— Надо было везти его в Новиллу, там больницы гораздо лучше. Но доктор Рибейро все обещал и обещал, а мы ему верили. Это я во всем виновата, вот как есть.

— Вали все на меня, Инес, вини меня! Я — тот, кто верил обещаниям. Это я был доверчив, не ты.

Он бы сказал еще что-нибудь в том же духе, но слышит, до чего это похоже на Дмитрия, и ему становится стыдно за себя, и он умолкает. *Вините меня, покарайте меня!* Гадость какая! По лицу ему надо ударить с размаху. *Взрослей же, Симон! Будь мужчиной!*

Назавтра возникает еще с полдюжины свидетельств о Боливаре — настоящем Боливаре

или Боливаре призрачном, кто знает? — после чего тишина. Инес возвращается к обыденности «Модас Модернас», он возобновляет свои велосипедные разезды. Иногда по вечерам Инес приглашает его на ужин, но в основном они проводят время порознь, раненые, скорбящие.

Его обход ветеринарных клиник дарит однуединственную удачу. В «Клинике Хулля» медсестра ведет его во двор, где обитают животные.

— Не эту ли собаку вы ищете? — спрашивает она, показывая на клетку, в которой мечется здоровенный пес рыжевато-бурого окраса. — У него нет именного жетона, но жетон мог потеряться.

Пес — не Боливар. Он на несколько лет моложе. Но у него глаза Боливара и общий вид тихой угрозы — как у Боливара.

— Нет, это не Боливар, — говорит он. — Какая у этого пса история?

— Его привел на прошлой неделе какой-то человек. Сказал, что пса зовут Пабло. У него жена родила недавно, и они опасаются, что Пабло может обидеть малыша, когда она не смотрит. Псы бывают ревнивы, как вы, я уверена, знаете сами. Он попытался его отдать кому-то, но никто из его знакомых собаку не захотел.

Он, Симон, стоит рядом с Пабло, которого никто не хочет, разглядывает его. На

миг желтые глаза вперяются в него, Симона, и холодок пробегает у него по спине. Затем взгляд соскальзывает и вновь делается безразличным.

— Какое будущее ожидает Пабло? — спрашивает он.

— Мы не любим усыплять животных, если они здоровы. Поэтому пробудет у нас, сколько получится. Но нельзя вечно держать такого красавца взаперти. Это слишком жестоко. — Она бросает на него, Симона, пристальный взгляд. — Что думаете?

— Не знаю, что я думаю. Не лучше ли смерть, чем жизнь под замком в клетке? Может, спросим, что думает сам Пабло.

— Я имею в виду, что вы думаете насчет взять его себе, приютить его?

Что он думает? Он думает, что Инес будет в бешенстве. *Сегодня ты приводишь бездомного пса, а завтра — бездомного ребенка.*

— Узнаю, что думает моя жена, — говорит он. — Если согласится, я вернусь. Но, боюсь, она не согласится. Очень привязана к нашему Боливару. Все еще надеется на его возвращение. Если он когда-нибудь вернется и увидит, что на его подстилке спит чужак, это его убьет. Вот прямо так. Убей или будь убит. Но поглядим. Может, я ошибаюсь. До свидания — и спасибо. До свидания, Пабло.

Он уговаривает Инес на Пабло.

— Что мы знаем о собаках? — говорит он. — Люди умирают и просыпаются новыми собой в новом мире. Может, когда собаки умирают, они просыпаются в том же мире вновь и вновь. Может, такова песья судьба. Может, это и означает — быть собакой. Но тебе не кажется странным, что судьба приведет меня к клетке с псом, который запросто мог быть Боливаром, если бы Боливару было десять лет? Давай хоть съезди посмотреть? Ты сразу сможешь сказать, перевоплощение ли это Боливара или просто другая собака.

Инес непреклонна.

— Боливар не погиб, — говорит она. — Мы перестали о нем заботиться, мы забывали его кормить, он почувствовал себя брошенным — и бросил нас. Он бродит где-то по городу, ест из мусорных баков.

— Если не приютишь Пабло, я буду вынужден взять его к себе, — говорит он. — Я не могу допустить, чтобы его усыпили. Это слишком несправедливо.

— Поступай как знаешь, — говорит Инес. — Но это будет твоя собака, не моя.

Он возвращается в клинику.

— Я решил взять Пабло, — объявляет он.

— Боюсь, вы опоздали, — говорит медсестра. — Вчера зашла пара, вскоре после вас, и забрала его, не раздумывая. Они как раз такого и искали, по их словам. У них птицефер-

ма на окраине города. Им нужен пес, который будет отгонять хищников.

— Вы не дадите мне их адрес?

— Простите, это нельзя.

— Тогда не могли б вы сообщить той паре с фермы, что, если у них не сложится, если по какой-либо причине Пабло окажется не тем псом, какого они искали, есть человек, который эту собаку приютит?

— Так и сделаю.

Есть в этом его поиске Боливар — и он это понимает даже слишком отчетливо — нечто безумное. Неудивительно, что Инес с ним, Симоном, так резка. Тело их сына еще не упокоили — более того, никто, кажется, не стремится сообщить им напрямик, что с телом вообще стало, — а он прочесывает город в поисках сбежавшей собаки. Он что, не в себе?

Он, Симон, покупает банку краски, обходит все места, какие может вспомнить, где на стенах и фонарных столбах расклеил свои объявления о пропаже, и закрашивает листовки черным. *Брось*, — говорит он себе. — *Нет больше пса.*

Не то чтобы он любил Боливар. Боливар ему даже не нравился. Но и любовь никогда не была подходящим для Боливар чувством. Боливар требовал к себе чего-то совсем другого: чтобы ему предоставили быть в себе, одному. Он, Симон, это требование чтит. Взамен пес

предоставлял быть ему, Симону, в себе, одному, а может — и Инес.

С Давидом все иначе. В некотором смысле Боливар был нормальным псом — избалованным, вероятно, а вероятно, и ленивым, в последние годы также, вероятно, обжорой, слишком много спал, а по впечатлению некоторых — вообще проспал всю свою жизнь. Но в другом смысле Боливар не спал никогда — никогда, если Давид был где-то рядом, или, если уж спал, то с одним открытым глазом, с одним ухом начеку, следил, берег Давида от вреда. Уж если и был у Боливара повелитель и владыка, им был Давид.

До самого конца. Пока не содеялся великий вред, от которого Боливар своего владыку спасти не мог. Не в этом ли глубинная причина, почему Боливар сбежал: он сбежал искать своего владыку, где б ни был он, найти его и вернуть?

Псы не понимают смерть, не понимают, как живое существо способно прекратить быть. Но возможно, причина (глубинная причина), почему они не понимают смерть, — в том, что они не понимают понимание. Я, Боливар, испускаю последний вздох в канаве в исследованном дождем городе, и в тот же самый миг я, Пабло, сознаю себя в клетке в чужом дворе. Что тут вообще понимать?

Он, Симон, учится. Сперва он ходил в школу с ребенком, теперь ходит в школу с соба-

кой. Жизнь обучения. Следует быть признательным.

Он вновь заглядывает в Асистенцию. На этот раз — просит список птицеферм. В Асистенции такого списка нет. *Отправляйтесь на рынок*, — советует конторщик, — *спрашивайте*. Он отправляется на рынок и спрашивает. Одно тянет за собой другое, и вот уже он, Симон, стоит у сарая из оцинкованного железа в долине за городом и выкликает:

— Эй! Есть кто?

Возникает молодая женщина в резиновых сапогах, от нее пахнет аммиаком.

— Добрый день, простите за беспокойство, — говорит он, — но не забирали ли вы пса у ветеринара, доктора Хулля?

Молодая женщина весело свистит, на свист галопом прибегает пес. Это Пабло.

— Я видел этого пса, когда он сидел во дворе у доктора Хулля, очень хотел его забрать, но, когда посоветовался с женой, его уже не стало. Я не знаю, сколько вы за него заплатили, но готов предложить вам сто реалов.

Молодая женщина качает головой.

— Пабло — как раз такой пес, какой нам тут нужен. Он не продается.

Он подумывает, не рассказать ли ей о Боливаре — о месте Боливара в его, Симона, жизни, в жизни Инес, в жизни мальчика, о том, какая брешь осталась от этого двойного ухода соба-

ки и мальчика, о видении Боливара мертвым в канаве на задворках города и о втором видении — Боливара, перевоплощенного в Пабло, — но затем решает не говорить, все слишком сложно.

— Позвольте оставить вам номер телефона, — говорит он. — Мое предложение в силе. Сто реалов, двести, сколько потребуется. До свидания, Пабло. — Он протягивает руку, чтобы погладить пса по голове. Пес прижимает уши и гортанно рычит. — До свидания, сеньора.

## Глава 21

Они с Инес сидят в молчании над недоеденной трапезой.

— Так и проведем остаток своих дней — мы с тобой? — говорит он наконец. — Состаримся в городе, где ни ты, ни я не чувствуем себя как дома, оплакивая свою утрату?

Инес не отвечает.

— Инес, можно я тебе сообщу, что Давид сказал мне незадолго до ухода? Он думал, что после того, как его не станет, мы с тобой завведем ребенка. Я не знал, как ответить. Наконец сказал, что у нас с тобой не те отношения. Но ты не думала усыновить ребенка — кого-то из приюта, допустим? Или нескольких? Не думала насчет того, что можно начать все сначала и создать настоящую семью?

Инес бросает на него холодный враждебный взгляд. Почему? Он предложил что-то отвратительное?

Они с Инес провели вместе больше четырех лет, это достаточно долго, чтобы увидеть друг

в друге и худшее, и лучшее. Они друг дружке — не неведомые величины.

— Ответь мне, Инес. Почему б не начать все сначала, пока не поздно?

— Не поздно для чего?

— Пока мне не стали слишком старыми — слишком старыми, чтобы растить детей.

— Нет, — говорит Инес. — Я не хочу никого из приюта у себя дома, чтобы он спал в постели моего ребенка. Это оскорбление. Ты меня поражаешь.

Случаются ночи, когда он просыпается — готов поклясться — от голоса мальчика у себя в ушах: *Симон, я не могу уснуть, иди сюда, расскажи мне историю!* или: *Симон, мне снится плохой сон!* или: *Симон, я потерялся, приди, спаси меня!* Предполагает, что этот голос слышен и Инес, что он нарушает сон и ей, но он, Симон, не спрашивает.

Избегает футбольных игр в парке за многоквартирником. Но иногда в фигуре какого-нибудь ребенка, перебегающего дорогу или прыгающего по лестнице, на миг замечает Давида и чувствует прилив горчайшей обиды, что именно его ребенка забрали, а остальных девяносто девять никак не затронуло, они играют и счастливы. Кажется чудовищным, что тьма поглотила его, но нет вокруг никакого бурного негодования, никакого шума, никто не рвет на

себе волосы и не скрежещет зубами, мир продолжает вращаться на своей оси, словно ничего не случилось.

Он заглядывает в Академию, чтобы забрать пожитки Давида, и, сам не ведая, как и почему, оказывается во владениях Арройо, изливает ему душу.

— Стыжусь признаваться в этом, Хуан Себастьян, но я смотрю на юных друзей Давида и желаю, чтобы они умерли вместо него — кто-то один или все они, безразлично. Вредный дух, дух беспримесного зла словно овладел мной, и я не могу его стряхнуть.

— Не будьте к себе слишком строги, Симон, — говорит Арройо. — Смятение, какое вы чувствуете сейчас, пройдет, дайте время. Дверь открывается, входит ребенок, та же дверь закрывается, ребенка нет, все это случилось и прежде. Ничто в мире не изменилось. И все же это не так — не совсем. Даже если нам этого не видно, не слышно, не чувствуется, планета сместилась. — Арройо умолкает, внимательно всматривается в него, Симона. — Что-то произошло, Симон, что-то — не ничто. Когда вы ощущаете, как в вас поднимается горечь, вспоминайте об этом.

Мозг ему, Симону, застит туча — или это дух тьмы, но в этот миг он не видит и уж точно не постигает, это вот *что-то* — *не ничто*. Какой след оставил Давид? Никакого. Совсем

никакого. Даже соразмерного взмаху крыла у бабочки.

Арройо продолжает:

— Если позволите сменить тему, мои коллеги предложили нам собраться официально — сотрудникам и ученикам, воздать дань памяти вашему сыну. Вы с Инес придете?

Арройо своему слову верен. Прямо на следующее утро занятия в Академии отменены, ученики собираются все вместе почтить память усопшего однокашника. Они с Инес — единственные присутствующие посторонние.

Арройо обращается к собравшимся:

— Давид оказался среди нас несколько лет назад, он учился танцу, но вскоре проявил себя не как ученик, но как наставник, наставник нам всем. Излишне напоминать вам, как все мы замирали в изумлении, когда он танцевал. Я удостоился чести быть среди его учеников. В наших занятиях я играл роль музыканта, а он — танцора, но воистину, когда он начинал танцевать, танец становился музыкой, а музыка — танцем. От Давида танец лился мне в руки и пальцы — и в мой дух. Я был инструментом, на котором он играл. Он возвышал меня, возвышал он и вас, как мне известно из ваших признаний, — возвышал всех, чьи жизни затронул.

Сегодня я сыграю вам музыку, которую узнал от него. Когда музыка завершится, мы со-

блюдем минуту безмолвного созерцания. А затем разойдемся — с памятью о его музыке в нас.

Арройо садится за орган и начинает играть. Он, Симон, тут же узнает ритм. Это ритм Семи, предложенный с непривычной сладостью и изяществом. Он, Симон, ищет ошупью руку Инес, сжимает ее, закрывает глаза, отдается музыке.

С лестницы раздается внезапный грохот, и в студию врывается стайка юных. Во главе у них — Мария Пруденсия из приюта, она несет плакатик, пришпиленный к палке. ЛОС ДЕСИНВИТАДОС, гласит он: незваные. Позади нее, парой — доктор Фабриканте и сеньора Девито, а следом толпа сирот, чуть ли не сотня. В этой толпе на плечах у четверых мальчиков постарше простенький гроб, выкрашенный в белое; заранее спланированным маневром они вносят гроб на сцену и ставят там.

Доктор Фабриканте кивает, и к четверым гробоносцам присоединяется на сцене сеньора Девито. Пока все это происходит, Арройо не пытается вмешиваться: вид у него ошарашенный.

Сеньора Девито обращается к собравшимся:

— Друзья! — выкликает она. — Это для всех нас печальный повод. Вы утратили одного из вас — в ваших рядах брешь. Но у меня к вам послание, и послание это — радостное. Гроб, который вы видите перед собой, который про-

несли на своих плечах по улицам города из самого приюта «Лас Манос» эти юные товарищи Давида, — символ его смерти, но и его жизни притом. Мария! Эстебан!

Мария и высокий прыщавый юноша, ее спутник, делают шаг вперед и без единого слова поднимают гроб торчком и снимают с него крышку. Гроб пуст.

Эстебан говорит. Голос у него прерывается, лицо раскрасневшееся, ему явно неудобно.

— Мы, сироты из приюта «Лас Манос», присутствовали у постели Давида в его последних муках и решили... — Он бросает отчаянный взгляд на Марию, та шепчет ему на ухо. — Решили, что мы, оставленные им, оставим его послание.

Теперь очередь Марии. Она говорит с неожиданным самообладанием.

— Мы называем это гробом Давидовым, он, как видите, пуст. Что это нам говорит? Это говорит нам, что он не ушел, что он по-прежнему среди нас. Почему гроб белый? Потому что, хоть и кажется, что день этот печален, печален он не совсем. Вот и все. Вот что мы хотели сказать.

Доктор Фабриканте кивает вторично. Сироты возвращают крышку на гроб и поднимают гроб на плечи.

— Спасибо вам всем, — выкрикивает сеньора Девино поверх шума. Улыбка ее кажет-

ся ему, Симону, восторженной, никак иначе. — Спасибо, что позволили детям из «Лас Манос», на кого слишком часто не обращают внимания, кого забывают, поучаствовать в ваших поминках.

И так же внезапно, как они появились, сироты покидают студию, спускаются по лестнице и уносят гроб с собой.

Наутро, когда они с Инес завтракают, в дверь к ним стучит Алеша.

— Сеньор Арройо просит меня принести вам извинения за вчерашнюю кутерьму. Для нас это тоже полная неожиданность. И вы забыли вот это. — В руках у него балетки Давида.

Инес без единого слова забирает балетки и выходит из комнаты.

— Инес расстроена, — говорит он, Симон. — Ей нелегко. Уверен, вы понимаете. Может, выйдем? Прогуляемся в парке.

День приятный, прохладный, безветренный. Шаги глушит толстый ковер опавших листьев.

— Давид показывал вам фокус с монеткой? — спрашивает Алеша ни с того ни с сего.

— Фокус с монеткой?

— Он подбрасывает монетку, и она каждый раз падает орлом. Десять раз, двадцать, тридцать.

— У него, должно быть, имелась монетка с орлами на обеих сторонах.

— Он этот трюк проделывал с любой монеткой, какую ему ни дай.

— Нет, этот фокус он мне не показывал. Но, пока я не положил этому конец, он играл в кости с Дмитрием, и Дмитрий говорил, что Давид способен выбрасывать двойную шестерку, когда пожелает. Какие еще фокусы он показывал?

— Я видел только с монеткой. Мне так и не удалось разобраться, как у него это получалось. Остается только диву даваться.

— Надо полагать, если человек очень точно владеет мышцами, можно совершенно одинаково каждый раз бросать монетку или игральную кость. Наверное, дело в этом.

— Он проделывал этот фокус исключительно нам на потеху, — говорит Алеша, — но один раз сказал, что, если б захотел, мог бы обрушить столбы.

— Что вообще он имел под этим в виду — обрушить столбы?

— Понятия не имею. Сами знаете, какой он был, Давид. Впрямую то, что имеет в виду, никогда не скажет. Всегда предоставлял нам разбираться самостоятельно.

— Он Хуану Себастьяну свой фокус с монеткой показывал?

— Нет, только детям в классе. Я говорил Хуану Себастьяну про это, но его не заинтересовало. Сказал, что в Давиде он ничему не удивляется.

— Алеша, а упоминал ли когда-нибудь Давид послание, которое он нес?

— Послание? Нет.

— Давид делил людей согласно тому, готовы они услышать его послание или нет. Я оказался среди безнадежных — тех, которые без воображения, чересчур приземленные. Подумал, может, вас он возвысил до другого лагеря — лагеря избранных. Подумал, что он, может, вам он свое послание открыл. Он к вам тянулся. И вы к нему — мне это было видно.

— Я не просто тянулся к нему, Симон. Я его любил. Мы все его любили. Я бы жизнь за него отдал. Правда. Но нет, никакого послания он мне не передал.

— В последнюю ночь, которую я провел с ним, он говорил и говорил о своем послании — говорил о нем, не открывая, в чем оно состояло. Дмитрий же теперь заявляет, что ему оно было открыто, в полноте. Как вы знаете, еще со времен Аны Магдалены Дмитрий настаивал, что у них с Давидом особая связь, тайное притяжение. Я ему никогда не верил — он же врал. Но теперь, как я уже сказал, он болтает, что Давид оставил послание и Дмитрий — его единственный хранитель.

Дети в приюте особенно восприимчивы к этой истории. Наверняка они вторглись на вчерашние поминки именно поэтому. Послание Давида было адресовано им, говорит Дми-

трий, и всем сиротам в мире вообще, но умер Давид слишком рано, чтобы донести это послание лично, а потому лишь ему, Дмитрию, довелось услышать его целиком. Чтобы насаждать эту историю, он использует свою больничную подружку. Вы ее вчера видели — миниатюрная женщина, белокурая. Поддакивает всему, что он говорит.

— В чем же послание — если по Дмитрию?

— Он не сообщает. И немудрено. У него все так устроено: пусть противники угадывают. По моему мнению, все это *una estafa* — мошенничество. Даже если есть у него послание, он его сам выдумал.

— Я думал, Дмитрия осудили на пожизненное заключение. Как получилось, что он вновь на свободе?

— Кто ж знает. Он утверждает, что признал кривду путей своих и покаялся. Утверждает, что теперь новый человек, преображенный. Он убедителен. Люди хотят ему верить — или по крайней мере не отказывают в презумпции невиновности.

— Ну, вы бы послушали, что по этому поводу сказал бы Хуан Себастьян.

В тот вечер он, Симон, беседует с Инес.

— Инес, Давид показывал тебе когда-нибудь один свой фокус — он умел подбрасывать монетку так, чтобы она каждый раз падала орлом?

— Нет.

— Алеша сказал, что он этот фокус показывал одноклассникам. А говорил ли тебе Давид, что у него есть послание, которое он хотел бы оставить?

Инес разворачивается к нему лицом.

— Что, все необходимо вытаскивать на свет, Симон? У меня не может быть маленького личного пространства?

— Прости, я понятия не имел, что ты так это чувствуешь.

— Ты понятия не имеешь, как я чувствую что угодно. Ты когда-нибудь задумывался, каково мне было, когда меня оттесняли эти люди в больнице: *Нам нужна настоящая мать, а вы ненастоящая, убирайтесь*, — словно Давид какой-то там найденыш, *сирота*? Тебе такие оскорбления, может, глотать легко, а мне нет. Давида у меня отняли как раз тогда, когда он сильнее всего нуждался во мне, и я никогда не прошу людей, отобравших его у меня, никогда — включая этого доктора Фабриканте.

Очевидно, он, Симон, задел за живое. Пытается взять ее за руку, но она сердито отталкивает его.

— Уйди. Оставь меня. Из-за тебя все только хуже.

Отношения с Инес простыми не были никогда. Хотя они прожили в Эстрелле четыре года, ей по-прежнему нейдет, неуютно, не-

счастливо. Чаще всего в своем несчастье она склонна винить его: это он вывез ее из Новиллы и приятной жизни, которую она там вела со своими братьями. И вместе с тем у Давида не могло быть матери приверженнее, чем Инес. Он, Симон, тоже был по-своему привержен. Но он всегда предвидел день, когда мальчик отставит его навсегда (*Ты не можешь мне приказывать, ты мне не отец*). С Инес же связь кажется гораздо сильнее и глубже, из такой связи гораздо труднее выйти.

Инес тосковала по утрате свободы — такова цена материнства, но вместе с тем сыну она была преданна безусловно. Если и имелось в этом противоречие, она с ним жила без труда.

В идеальном мире они с Инес как родители Давида любили бы друг друга так же, как любили своего сына. В мире не таком идеальном, где они оказались, гнев, бурливший под поверхностью, в Инес нашел выход в припадках холодности и раздражения, направленных на него, Симона, и на них он отвечал отстранением. Теперь, когда ребенка не стало, долго ль еще им быть вместе?

Проходят дни, Инес все более открыто вспоминает старые времена в «Ла Резиденсии». Скучает по теннису, говорит, скучает по плаванию, скучает по братьям, особенно по младшему, Диего, чья подруга ждет второго ребенка.

— Если ты так все это чувствуешь, может, стоит вернуться, — говорит он ей. — В конце концов, что тебя держит в Эстрелле, кроме магазина? Ты все еще молода. У тебя вся жизнь впереди.

Инес таинственно улыбается — кажется, того и гляди скажет что-то, но молчит.

— Ты не думала, как нам поступить с одеждой Давида? — спрашивает он в один из их молчаливых совместных вечеров.

— Ты предлагаешь отдать ее в приют? Совершенно точно нет. Да я скорее сожгу ее.

— Я не это хотел предложить. Если отдать вещи в приют, они с немалой вероятностью поместят их под стекло, как святыни. Нет, я думал отдать на благотворительность.

— Поступай как хочешь, только не говори со мной об этом.

Она не хочет обсуждать будущее вещей мальчика, но он поневоле замечает, что миска Боливара исчезла из кухни вместе с его подстилкой.

Когда Инес нет дома, он пакует вещи Давида в два чемодана — от рубашки с рюшами и тужель с ремешками, которые Инес купила, когда усыновила его, до белой фуфайки с номером 9 сзади, той самой, в которой Давид был в судьбоносный день футбольного матча в «Лас Манос».

Он, Симон, утыкается носом в фуфайку номер 9. Он это выдумывает или ткань все еще

хранит призрачный коричный запах кожи мальчика?

Он, Симон, стучит в дверь квартиры сторожа. Открывает жена.

— Добрый день, — говорит он. — Мы незнакомы. Я Симон, из А-13 через двор. Мой сын играл с вашим сыном в футбол. Мой сын Давид. Прошу вас, поймите правильно, но я знаю, что у вас маленькие дети, и мы с женой подумали, может, вы возьмете одежду Давида. Иначе она просто окажется на свалке. — Он открывает один чемодан. — Видите, все в хорошем состоянии. Давид был с одеждой бережен.

Женщина, похоже, смущена.

— Мне так жаль, — говорит она. — В смысле, я вам очень соболезную.

Он закрывает чемодан.

— Приношу извинения, — говорит он. — Не следовало спрашивать. Глупо вышло.

— На Калле Роса есть благотворительный магазин — следующая дверь после почтового отделения. Уверена, они примут с радостью.

Бывают вечера, когда Инес возвращается домой за полночь. Он ждет, прислушиваясь, не подъезжает ли ее машина, не звучат ли ее шаги по лестнице.

В один из таких поздних приездов шаги стихают у него под дверь. Она стучит. Она

расстроена, он видит это сразу, и, возможно, слишком много выпила.

— Я больше не могу с этим, Симон, — говорит она и принимается плакать.

Он обнимает ее. Сумочка падает на пол. Инес выпрастывается из его объятий, поднимает сумочку.

— Я не знаю, что делать, — говорит она. — Дальше я так не могу.

— Сядь, Инес, — говорит он. — Я заварю чаю.

Она падает на диван. Через миг вскакивает.

— Не наливай чай, я уйду, — говорит она.

Он ловит ее в дверях, ведет обратно на диван, садится рядом.

— Инес, Инес, — говорит он, — ты пережила ужасную утрату, мы оба пережили ужасную утрату, ты сама не своя, как же иначе? Мы израненные существа. У меня нет таких слов, какие могли бы забрать твою боль, но, если тебе надо поплакать, плачь у меня на плече. — И он обнимает ее, пока она плачет и плачет.

Это первая из трех ночей, какие они проводят вместе, спят в одной постели. О сексе и речи нет, но на третью ночь, набравшись смелости в темноте, Инес начинает, поначалу робея, а затем все свободнее, изливать свою историю — историю давних времен, когда идиллии в «Ла Резиденсии» пришел резкий конец с прибытием — неожиданным, нежеланным — чужо-

го мужчины с мальчиком, цеплявшимся за его руку.

— Он смотрелся таким одиноким, таким беспомощным в тех одеждах, в которые ты его рядил и которые ему не шли, у меня сердце разрывалось. Прежде до того дня я никогда не видела себя матерью. Того, о чем толковали другие женщины — желание, тоска, уж как они там это называли, — во мне просто не было. Но в тех его громадных глазах была такая мольба... я не могла устоять. Умей я провидеть будущее, знай я, на какую боль себя обрекаю, я бы отказалась. Но в тот миг мне ничего не оставалось, только сказать: *Ты меня выбрал, малыш. Я твоя, бери меня.*

Он, Симон, помнит тот день иначе. По его памяти, умолять и уговаривать Инес пришлось очень долго. *Давид не то чтобы тебя выбрал, Инес, — хотелось бы ему сказать (но он не говорит, потому что опыт научил его: перечить Инес неразумно), — нет, он признал тебя. Он признал тебя как свою мать, он признал мать в тебе. И взамен (хотел бы он продолжить, но воздерживается) он хотел, чтобы ты признала — чтобы мы оба признали его. Вот чего он вновь и вновь требовал: чтобы его признали. Хотя (добавил бы он в заключение) как от обычного человека ждать, чтобы его признал кто-то, кого он ни разу прежде не видел, — превыше моего разума.*

— Казалось (продолжает Инес свой монолог), — словно мое будущее разом стало для меня ясно. До тех пор пока жила в «Ла Резиденсии», я все время ощущала себя слегка посторонней, немного отдельной, словно бы витала в воздухе. И вдруг меня вернули на землю. Предстояла работа. Мне нужно о ком-то заботиться. Возникла цель. А теперь... — Она умолкает; в темноте он чувствует, как она глушит слезы. — А теперь что осталось?

— Нам повезло, Инес, — отзывается он, пытаясь ее утешить. — Мы могли прожить наши обыденные жизни, ты — в своем пространстве, я — в своем, и несомненно, мы бы нашли каждый свое удовлетворение. Но под конец к чему бы оно свелось, это обыденное удовлетворение? Мы же удостоились чести — нас посетила комета. Помню, как Хуан Себастьян говорил мне совсем недавно: Давид возник, мир переменялся, Давид ушел, мир вернулся к тому, чем был прежде. Вот чего мы с тобой не в силах стерпеть: мысли, что его стерло с лица земли, ничего не осталось, что он мог бы попросту не существовать вообще. И все-таки это неправда! Это неправда! Мир, может, и стал таким же, как был, но он и другой вместе с тем. Нам нужно крепко держаться за эту разницу — нам с тобой, даже если сейчас мы ее не различаем.

— Было все равно что оказаться в сказке, в те первые месяцы, — продолжает Инес. Го-

лос у нее тягучий, мечтательный; он сомневается, что она услышала хоть слово из того, что он только что произнес. — *Una luna de miel*, вот каково оно было для меня, если может быть медовый месяц с ребенком. Никогда не чувствовала я себя такой цельной, такой удовлетворенной. Он был моим *caballerito*, моим маленьким мужчиной. Часы напролет я стояла над ним, пока он спал, впивала его вид, изнывая от любви. Тебе не понять этого — материнской любви, верно же? Куда тебе.

— Нет, конечно, куда мне. Но было ясно с первого взгляда, как сильно ты его любила. Ты человек не показной, но это было видно всем, даже посторонним.

— То были лучшие дни в моей жизни. Позднее, когда он пошел в школу, все стало труднее. Он начал отстраняться от меня, противиться. Но в это я вдаваться не хочу.

Ей и не надо. Те дни он, Симон, помнит очень отчетливо, помнит упрек: *Ты не можешь мне приказывать, ты мне не настоящая мать!*

Через зияющую пропасть между его краем кровати и ее, сквозь завесу тьмы говорит он:

— Он любил тебя, Инес, что бы ни говорил в запале. Он был твой ребенком — твоим и ничьим больше.

— Он не был моим ребенком, Симон. Ты знаешь это не хуже, чем я. Даже меньше, чем твоим. Он был неприрученным существом, су-

*Дж. М. Кутзее*

ществом из леса. Он никому не принадлежал. Уж точно не принадлежал нам.

Неприрученное существо: от ее слов его, Симона, встряхивает. Он и не подумал бы, что она способна на подобные прозрения. Инес полна сюрпризов.

Этим завершается долгая исповедь Инес. Не прикасаясь друг другу, соблюдая осторожное расстояние, они погружаются в сон, сперва она, следом он. Когда он просыпается, ее уже нет, и она не возвращается.

Через несколько дней он находит у себя под дверью клочок бумаги. Почерк ее. «Просьба позвонить Алеше из Академии. Прошу не втягивать меня ни в какие затеи».

## Глава 22

— У меня к вам предложение, — говорит Алеша. — Оно от мальчиков — от друзей Давида с благословения Хуана Себастьяна. Оно вот в чем: мы делаем свежую постановку, *un espectáculo* в память о Давиде. Что-нибудь уместное, но не слишком сумрачное, не слишком печальное. Исключительно для детей из Академии и их родителей. Чтобы воздать ему должное без вмешательства посторонних. Позволите ли вы?

Замысел, как выясняется, привиделся во сне сыновьям Хуана Себастьяна Хоакину и Дамиану.

Сперва они предложили просто исполнить танцы, напоминавшие о Давиде, а теперь захотели добавить к танцам комических сценок, эпизодов из жизни Давида.

— Им бы хотелось, чтобы получилось что-то детское, что-то беззаботное, — говорит Алеша. — Они хотят, чтобы запомнили Давида таким, какой он был в настоящей жизни, а не

чтобы мы плакали. Мы уже наплакались, говорят они.

— Давид, каким он был в настоящей жизни, — произносит он, Симон. — Что дети из Академии знают о настоящей жизни Давида?

— Достаточно, — отвечает Алеша. — Это праздник в конце семестра, а не историческая реконструкция.

— Если Хуан Себастьян всерьез намерен ставить этот *espectáculo*, у меня есть встречное предложение. Мы могли бы купить ослика и гастролировать по округе. Он бы играл на скрипке, я бы танцевал. Можем назваться «Братьями-цыганами» и назвать наше представление «Деяния Давидовы».

Алеша сомневается.

— Вряд ли Хуану Себастьяну эта затея понравится. Вряд ли у него найдется время для гастролей.

— Я шучу, Алеша. Не надо пересказывать это Хуану Себастьяну. Ему оно смешным не покажется. То есть он хочет устроить второе собрание. Позвольте я изложу эту затею Инес, посмотрим, что она скажет.

Некогда он, Симон, возлагал на Алешу большие надежды. Но пригожий молодой учитель скорее разочаровал его. Слишком приземленный ум, слишком буквальный. Заявляет, что он поклонник Давида, но в какой мере прозревал он Давида настоящего, непредсказуемого?

Поначалу Инес отказывается позволять. К Академии она всегда относилась настороженно — к тамошнему образованию (легкомысленному, недостаточно основательному), к самому Арройо (отчужденный, высокомерный), о скандальной связи — не забытой ни на миг — сеньоры Арройо со школьным уборщиком. Он, Симон, изо всех сил пытается переубедить ее.

— Этот концерт — дар, подносимый самими детьми, — настаивает он. — Нельзя наказывать их за недостатки Академии. Они любили Давида. Им хочется сделать что-то в память о нем.

Инес неохотно соглашается.

Праздник, вскоре назначенный на вечер, привлекает поразительно много родителей. Арройо не обращается к собранию сам — и не появляется на сцене. Спектакль представляет Хоакин, его старший сын, выросший в серьезного на вид грамотея. Хоакин говорит с публикой без всякого волнения.

— Мы все знаем Давида, поэтому объяснять его не нужно, — произносит он. — Первая половина нашей программы называется «Деяния и речения Давидовы». Вторая — танцы и музыка. Это всё. Надеемся, вам понравится.

Два мальчика выходят на сцену. У одного вокруг головы венец-лента с крупной буквой «Д», выведенной чернилами. На втором ученая мантия и шапочка ученого, к поясу под мантией

привязана подушка — получается выпирающий живот.

— Мальчик, сколько будет два и два? — вопрошает персонаж-учитель громовым голосом.

— Два чего и два чего? — отзывается персонаж-Давид.

— До чего же бестолковый мальчик! — громко и с отчаянием провозглашает учитель в сторону. — Два яблока и два яблока, мальчик. Или два апельсина и два апельсина. Две штуки и две штуки. Два и два.

— Что такое штука? — спрашивает Давид.

— Штука — это что угодно, хоть яблоко, хоть апельсин, что угодно во Вселенной. Не испытывай моего терпения, мальчик! Два и два!

— А сопля может быть? — спрашивает Давид.

Аудитория похохатывает. Мальчик, играющий роль учителя, тоже начинает хихикать. Подушка выскальзывает и плюхается на сцену. Смех. Мальчики на сцене раскланиваются и уходят.

Появляются новые актеры. Мальчик, игравший Давида, выбегает обратно и передает венец, актер из новеньких нацепляет его.

— Что это у тебя за спиной? — спрашивает персонаж-Давид.

Другой показывает, что он прячет: плоску ирисок.

— Давай поспорим, — говорит Давид. — Если я подброшу монетку и выпадет орел, ты дашь мне ириску, если выпадет решка, я отдам тебе всё.

— Всё? — переспрашивает второй мальчик. — В каком смысле «всё»?

— Всё во Вселенной, — отвечает Давид. — Готов?

Подбрасывает монетку.

— Орел, — объявляет он. Второй мальчик вручает ему ириску. — Еще? — говорит мальчик-Давид. Второй кивает. Взлетает монетка. — Орел, — объявляет мальчик-Давид. Протягивает руку за ириской.

— Так нечестно, — возражает второй мальчик. — Это жульническая монетка.

— Не жульническая она, — говорит Давид. — Дай другую.

Зрелищно поискав в кармане, второй мальчик выуживает монетку. Давид подбрасывает ее.

— Орел, — объявляет он и протягивает руку.

Сценка ускоряется: бросок, объявление («Орел»), протянутая рука, вручение ириски. Вскоре площадка пустеет.

— Что теперь поставишь на кон? — спрашивает Давид.

— Поставлю рубашку, — говорит второй мальчик. Остается без рубашки, затем без ботинка, следом без второго. В конце концов стоит в одних трусах. Давид бросает монетку, но

на этот раз ничего не говорит — ни «орел», ни «решка», а лишь многозначительно улыбается. Второй мальчик раздражается слезами: «У-ху-ху!» Под гром аплодисментов мальчики раскланиваются.

На сцену втаскивают железную койку, накрытую простыней. Младший сын Арройо с усами и острой бородкой, облаченный в ночную сорочку до щиколоток, лежит на кровати, скрестив руки на груди и закрыв глаза.

Входит Алеша в черном пальто.

— Что ж, Дон Кихот, — произносит он, — вот лежишь ты на смертном одре. Пришло твое время примириться со всем белым светом. Не осталось драконов, чтоб убивать их, не осталось прекрасных дам, чтоб спасти. Признаёшь ли ты наконец, что все это была сплошная *una tontería*, чепуха — жизнь, которую ты вел как бродячий рыцарь?

Дон Кихот не шевелится.

— Великан, на которого ты так отважно напал верхом на Росинанте, — на самом деле никакой не великан, а просто мельница. Все это не было настоящим — эта твоя жизнь в приключениях, которую ты вел. Это все спектакль, который ты устроил нам на потеху. Ты понимал это, верно? Ты был актером, игравшим роль, а мы — твоей публикой. Но теперь спектакль завершается. Пора сдать меч. Пора показаться. Говори же, Дон Кихот!

Дамиан Арройо — борода несколько перекошена — усаживается на постели, всячески подчеркивая свою скрипучесть. Дрожащим голосом он просит:

— Приведите мне Росинанта!

Из кулис появляется конь: двое детей, скрюченных под красным ковром, видны только ноги, несут впереди конскую голову из папьемаше.

— Принесите мой меч! — велит Дамиан.

Ребенок, облаченный в черное, выходит на сцену, выносит покрашенный черным деревянный клинок, вручает его.

Сходя с постели, Дамиан поворачивается к аудитории, высоко вскидывает меч.

— Вперед, Росинант! — кричит он. — Пока есть дамы, которых надо спасти, мы не престанем!

Он пытается влезть на спину Росинанта. Мальчики под ковром спотыкаются и падают. Голова коня грохочет по полу. Дамиан размахивает мечом над головой. Борода отваливается, но усы на месте.

— Вперед, Росинант! — повторяет он свой клич. Публика ликует. Алеша обнимает его, ставит на ноги, приглашает публику аплодировать.

Он, Симон, поворачивается к Инес. У нее по лицу струятся слезы, но она улыбается. Он берет ее за руку.

— Наш мальчик! — шепчет он ей на ухо.

Двое помощников выталкивают на сцену объемистую картонную коробку, одна сторона у нее срезана. Из-за кулис появляется мальчик-актер в длинной черной хламиде и зеленом парике, все лицо у него в белом гриме; он заходит в коробку и стоит в ней молча, поникнув головой.

Раздается рокот барабанов, и Хоакин — на голове у него венец с буквой «Д» — с тяжелым посохом величественно вышагивает на сцену. Садится на стул лицом к коробке.

Начинает говорить.

— Тебя зовут Эль Лобо — волк.

— Да, владыка, — отвечает фигура в черном, по-прежнему свесив голову.

— Тебя зовут Эль Лобо, и тебя обвиняют в том, что ты пожрал невинного щенка, не причинившего тебе никакого вреда, он всего лишь хотел играть. Что скажешь в свое оправдание?

— Виновен, владыка. Прошу милости. Это в природе моей — пожирать мелких животных, ягнят, щенков, котят и так далее. Чем невиннее они, тем аппетитнее мне кажутся. Не могу ничего с собой поделать.

— В твоей природе пожирать щенков, а в моей — оглашать приговор. Готов ли ты к приговору, Эль Лобо?

— Готов, владыка. Суди меня строго. Пусть

секут меня плетьюми. Пусть пострадаю я за свою дурную природу. Прошу лишь одного: когда выстрадаю я свою кару, пусть ты простишь меня.

— Нет, Эль Лобо, пока не переменишь ты природу свою, прощен не будешь. А теперь я оглашу приговор. Ты приговорен вернуть щенка, которого ты пожрал, к жизни.

— У-хуу! — говорит мальчик в черном, превеличенно стирая слезы с лица. — Как не во власти моей сменить свою природу, так не в моей власти вернуть щенка к жизни, как ни хотелось бы мне того. Оный щенок был порван в клочья, сжеван, проглочен и переварен. Его более нет. Нет щенка. То, что было щенком, теперь часть меня. То, что ты требуешь, невозможно исполнить.

— Ты ошибаешься, Эль Лобо! Владыке мира подвластно все! — Он встает, трижды стучит посохом в пол. — Пусть вернется щенок к жизни!

Встревоженный, напуганный мальчик в черном опускается на корточки в коробке, виден теперь только его ядовито-зеленый парик. Слышны громкие звуки рвоты, приступ за приступом. Сзади из коробки выскакивает маленькая фигура, Симон тут же узнает Эль Перрито из их квартала. Сам не свой от радости Эль Перрито скачет по сцене, публика хохочет и ликует.

Взявшись за руки, актерская тройца кланяется: Эль Перрито, мальчик в зеленом парике и Хоакин в венце с буквой «Д» на нем.

Все сценки показаны. Со сцены всё убирают. Арройо импровизирует на органе нежную мелодию. Публика затихает. Сыновья Арройо появляются в трико и балетках. Младший начинает знакомый танец Трех. Затем музыка усложняется, и старший мальчик берется танцевать Пять. Подчиняясь двум разным ритмам, они кружат вокруг друг друга.

Поверх ритмов Трех и Пяти орган вдруг дает еще один, поверх обоих. Поначалу у него, Симона, не получается определить этот ритм. Слишком много всего происходит в этой музыке, думает он про себя, уму не под силу уследить. И в Инес, и в людях вокруг он чувствует ту же растерянность.

Двое мальчиков Арройо продолжают свои изящные па, кружат и кружат, но радиус их движения расширяется, пока центр сцены не пустеет. Музыка тоже упрощается. Сперва отпадает ритм Пяти, затем ритм Трех. Остается лишь Семь. Он сколько-то длится. Публика расслабляется. Музыка стихает, умолкает. Мальчики замерли, головы опущены. Свет гаснет, сцена во тьме, танец окончен.

Концерт завершается выступлением самого Арройо на скрипке. Без особого успеха. Публике не удается, она взбудоражена, а улавливать

эту музыку, тихую, задумчивую, не так-то просто: как беспокойная птица, она словно бы не может решить, на чем успокоиться. Когда пьеса приближается к концу, звучат аплодисменты, но в них Симон улавливает немалое облегчение.

Родители подходят к ним с Инес.

— До чего прекрасный концерт!.. Как трогательно!.. Какая утрата!.. Мы вам сочувствуем... Какой он был милый ребенок!.. И до чего хороши, до чего талантливы сыновья Арройо!..

Тронутый добротой слов, добротой жестов, он ощущает в себе порыв выйти на сцену и излить душу. *Дорогие родители, дорогие дети, дорогой сеньор Арройо*, — хочется ему сказать, — *этот день незабываем. Мама Давида и я сам унесем нетленные воспоминания о сердечной теплоте, с какой нашего сына опекали в этих стенах. Да здравствует Академия!* Но передумывает, придерживает язык, ждет, пока публика разойдется.

Арройо стоит в дверях, пожимает руки, совершенно серьезно принимает благодарности. Он, Симон, и Инес — последние в очереди.

— Спасибо, Хуан Себастьян, — говорит Инес, протягивая ему руку. — Вы дали нам повод для большой гордости. — Его, Симона, удивляет теплота ее голоса. — Более всего благодарю вас за музыку.

*Дж. М. Кутзее*

— Музыку одобряете? — уточняет Хуан Себастьян.

— Да. Я боялась, что будут фанфары. Фанфары мне бы не понравились.

— В меру своих робких способностей, сеньора, я стараюсь явить то, что скрыто. В такой музыке нет места фанфарам или барабанам.

Слова Арройо для него, Симона, загадка, но Инес вроде бы понимает.

— Доброй ночи, Хуан Себастьян, — говорит она.

Старомодно, галантно Арройо склоняется и целует ей руку.

— Что имел в виду Хуан Себастьян? — спрашивает он Инес в машине. — Что скрытое он пытается явить?

Инес лишь улыбается и качает головой.

## Глава 23

Вопрос земных останков по-прежнему открыт.

Он, Симон, звонит в приют, разговаривает с секретаршей Фабриканте.

— Мы с мамой Давида хотели бы навестить место захоронения Давида, — говорит он. — Не могли бы вы сообщить нам, где это?

— Вы будете вдвоем?

— Да, только мы вдвоем.

— Давайте встретимся у кабинета, и я вас провожу, — говорит она. — Приезжайте утром, когда дети учатся.

Они с Инес — Инес в суровом черном — послушно приезжают наутро. Секретарша ведет их по петляющей тропе через розарий к трем скромным бронзовым табличкам на кирпичной стене зала собраний.

— Давид — справа, — говорит она. — Самый недавний.

Он, Симон, подходит поближе, читает табличку. *David*, — гласит она. — *Recordado con*

*afecto*. Читает другие две. *Tomás. Recordado con afecto. Emiliano. Recordado con afecto.*

— И это все? — говорит он. — Кто эти Томас и Эмилиано?

— Братья, погибшие при несчастном случае несколько лет назад. Прах — в маленькой нише за табличкой.

— А *Recordado con afecto* — помним с теплом? Это все, на что ваш приют способен? Никаких упоминаний любви? Бессмертной памяти? Никаких ожиданий новых встреч на дальнем берегу? — Он поворачивается к Инес в ее чопорном черном платье и непривлекательной черной шляпке. — Что скажешь? Достаточно ли нашему ребенку тепла?

Инес качает головой.

— Мы с мамой Давида единоголосны, — говорит он. — Мы считаем, что *afecto* недостаточно. Для Томаса и Эмилиано — возможно. Как бы то ни было, для Давида этого совсем недостаточно. Либо меняйте табличку сами, либо я ее заменю.

— Мы — общественное заведение, — говорит секретарша. — Заведение для живых, а не для мертвых.

— А цветы? — Он показывает на букетики полевых цветов под табличками. — Цветы тоже общественные?

— Я понятия не имею, кто тут оставил цветы, — говорит секретарша. — Возможно, кто-то из детей.

— По крайней мере, есть тут хоть кто-то с сердцем, — говорит он.

Он излагает Алеше историю их посещения приюта.

— Мы не ждали величественного памятника. Но тело заполучили доктор Фабриканте и его люди. Нависали, как стервятники, и ринулись на Давида, пока мы все еще были немые от горя. Но, сцапав его своими когтями, они обошлись с ним безразличнее некуда — меньшего *afecto* и не бывает.

— Вы все же сделайте поправку на политику в этой ситуации, — говорит Алеша. — У нас в Академии своих хлопот хватает, но у доктора Фабриканте и этих его энтузиастов, с которыми приходится управляться, хлопот гораздо больше. Вы же наверняка слышали, что они натворили в городе.

— Нет. А что они натворили в городе?

— Их банды носятся по магазинам, переворачивают все в витринах вверх дном, поносят продавцов за то, что те дерут слишком дорого. *Справедливые цены!* Вот их клич. В одном зоомагазине пооткрывали все клетки и выпустили зверей на свободу — собак, кошек, кроликов, змей, черепах. И птиц. Оставили только золотых рыбок. Пришлось вызвать полицию. Все это во имя справедливой цены, все во имя Давидово. Некоторые заявляют, что у них были мистические видения, видения, в которых Да-

вид явился им и дал указания. Он по себе оставил громадный след. Меня это все несколько не удивляет. Сами знаете, каков он был, Давид.

— У меня слов нет. В газетах ничего. Почему вы решили, что Давид оставил по себе след?

— Посмотрите на Давида их глазами, Симон, — глазами детей, живших в заведении всю свою жизнь, следовавших режиму этого заведения, почти без всякого доступа к большому миру. И тут вдруг среди них появляется ребенок с неизвестными замыслами и фантастическими историями, ребенок, которого никогда не учили формально, никогда не укрощали, который никого не боится — уж точно не боится учителей, он красив, как девочка, но при этом талантлив в футболе: он появляется среди них, как привидение, а затем, не успели они к нему привыкнуть, его скашивает таинственная болезнь — и вот уж Давида и след простыл, не видеть его в приюте больше никогда. Немудрено, что они проглотили истории Дмитрия, что его убили люди в белых халатах. Немудрено, что они сделали из него мученика и легенду.

— Убили врачи? Врачи в больнице? Это Дмитрия история? С чего врачам желать смерти Давиду? Они же не плохие люди. Они просто некомпетентны.

— По Дмитрию, это не так. В истории от Дмитрия они всё выдумали про поезд, который того и гляди приедет и привезет новую кровь,

чтобы Давида спасти, а затем прикрылись этим, когда взялись сосать из его тела кровь, пока он не зачах и не умер.

— Нет слов. Дмитрий обвиняет врачей в том, что они вурдалаки?

— Нет-нет, ничего настолько старомодного! История у него такова, что они выкачивали кровь Дмитрия в пробирки и прятали их в особом секретном месте, чтобы использовать в своих нечестивых исследованиях.

— И вопреки тому, что Дмитрий — психиатрический пациент, ему удастся распространять эту несусветную чушь по всему городу?

— Я не знаю, как именно эта история распространяется, но дети из приюта совершенно точно услышали это от него, а из приюта она растекается, словно живет своей самостоятельной жизнью. Но вернемся к *con afecto* и табличке, которую вы видели на стене. Все же примите во внимание и положение доктора Фабриканте. Если станет слишком поощрять энтузиастов, он рискует тем, что приют превратят в храм и рассадник всевозможных суеверий.

— Глядя на то, во что все вылилось, Алеша, вы не жалеете, что Академии не удалось затребовать себе останки Давида и «Лас Манос» прибрал их себе? Уж конечно, Давид был куда более продуктом вашей Академии, нежели «Лас Манос».

— И да и нет. Жалко, согласен, что «Лас Манос» подгрести его под себя. Но ни Хуан Себастьян, ни сам я, ни кто еще из учителей не считал Давида продуктом Академии. Это смешно. Давид учил нас куда больше, чем мы его. Мы были его учениками, все мы, включая меня. Помните, что сказал Хуан Себастьян на поминальном вечере, прежде чем нас прервали, когда описывал воздействие Давида на себя? Он выразился гораздо лучше, чем я. Все свелось к танцу, сказал он. Давид так или иначе все переводил в танец. Танец стал мастер-ключом или мастер-языком, да только не языком в привычном смысле слова — с грамматикой, словарем и так далее, какой можно выучить по книжке. Этот язык можно выучить, только следуя ему. Когда Давид танцевал, он пребывал где-то не здесь, и если удавалось за ним последовать, ты оказывался там же — не всегда, но время от времени точно. Но вам это незачем говорить, вы все это знаете и так. Если я бессвязен, простите меня. Вам, как я уже сказал, лучше бы поговорить с Хуаном Себастьяном.

— Вы, мой дорогой Алеша, несколько не бессвязны. Напротив, вы предельно красноречивы. После концерта на прошлой неделе Хуан Себастьян произнес нечто для меня таинственное. Он сказал, что в своей музыке он стремится явить скрытое. Как вы думаете, что это значит?

— Вы имеете в виду музыку, которую он играл в тот день? Понятия не имею. Спросите его. Вероятно, он имел в виду, что Давид — из тех людей, которые, как нам кажется, мощно повлияют на мир, но этого не происходит, потому что жизнь их внезапно обрывается. Их жизни обрываются, и они остаются скрытыми от глаз. Никто не пишет о них книги.

— Вероятно. Однако я не думаю, что Хуан Себастьян подразумевал такую скрытость. Ну да ладно. Позвольте вернуться к вопросу, который я на днях поднял, — о послании. Давид говорил о некоем послании, которое он с собой принес, но не мог передать. Пока он был в больнице, как я вам уже рассказывал, он довольно одержимо вещал об этом — и мне, и другим. Если то, что вы говорите, правда, если он умел сказать все, что хотел, посредством танца, почему он не передал это свое послание танцем?

— Не спрашивайте меня, Симон. Я для таких высоких материй человек неподходящий. Может, танцу недостает силы, чтобы передавать послания. Может, танец и послания принадлежат другим мирам. Не знаю. Но мне всегда казалось странным, что болезнь, убившая его, начала с того, что сделала его калекой. Станным — или зловещим. Словно у болезни имелся свой разум. Словно она хотела, чтобы он перестал танцевать. Что думаете?

*Дж. М. Кутзее*

Он, Симон, пренебрегает вопросом.

— Как вам известно, Дмитрий заявляет, что он — единственный носитель послания. Вопреки препятствиям людей в белых халатах, говорит он, Давид сумел передать ему послание — лишь ему одному. У вас нет догадок, что это за послание? Есть ли что сказать по этому поводу детям из Академии?

— Я не слышал. Но вот что они говорят, вот что принимают без сомнений: Дмитрий был самым преданным последователем Давида. Он был при Давиде все последние дни. Он бы спас Давида, если б мог — выкрал его из больницы куда-нибудь в безопасное место, но люди в белом оказались слишком многочисленны и слишком сильны.

— Подруга Дмитрия в больнице, сеньора Девиго, — что дети говорят о ней?

— Ничего. Все их истории — о Давиде и Дмитрие. Дмитрий, конечно, давно запечатлен в фольклоре Академии. Никто не ходит по ночам в подвал — все боятся, что их схватит и съест *Дмитрий Эль Коко*, Дмитрий Бабай с зелеными волосами.

— А, так вот, значит, кто это был — персонаж в концерте: Дмитрий Эль Коко! Ох, я б мечтал никогда не знать этого человека!

— Если бы не Дмитрий, возник бы кто-то подобный, — говорит Алеша. — Таких людей предостаточно, поверьте.

## Глава 24

От того же самого Дмитрия приходит письмо.

*Симон,*

*я бы предпочел говорить лицом к лицу, как мужчина с женщиной, но мне непросто перемещаться по своему усмотрению как нормальному человеку, пока не будет достигнуто согласие, что я оплатил за свои грехи, заслужил прощение и так далее. Потому пишу.*

*Давай постановим открыто: я тебе никогда не нравился, а ты никогда не нравился мне. Я отчетливо помню день, когда мы познакомились. Ты своих чувств не скрывал. Я — не твой тип, ты со мной ничего общего иметь не желал. И все же вот, много лет спустя, наши судьбы по-прежнему переплетены — твоя судьба с моей.*

*Пока Давид был жив, я чтил его семейный уклад. Если ты выдавал на публику историю, что вы втроем счастливая семья: отец, мать и обожаемый сын, — кто я такой, чтобы сеять сомнения?*

*Но ты знаешь правду. А правда в том, что счастливой семьей вы не были никогда — не были даже семьей. Правда в том, что юный Давид — ничей сын, он сирота, которого ты по каким-то своим причинам взял под крыло и окружил забором с шипами, чтобы Давид не сбежал, не улетел прочь.*

*На днях я имел беседу с доктором Хулио Фабриканте, содержащим приют, где Давид укрылся от тебя и Инес. Доктор Хулио — человек по-своему занятой, занятой по-своему и я, а потому нам встретиться непросто. Тем не менее мы нашли время повидаться и поговорить о будущем Давида.*

*О будущем Давида? — спросишь ты. Какое у Давида будущее, если он умер?*

*Тут мы застываем перед вопросом жизни и смерти, смерти и жизни. Что значит, философски говоря, на высочайшем и глубочайшем уровне, быть мертвым?*

*Ты сам по-своему немного философ, а потому силу вопроса оценишь. Я тоже стал немного философом — под действием заточения. Заточение, как я всегда говорю, — родная сестра созерцания, ну, или сводная сестра. За время моего заточения я много думал о прошлом — особенно об Ане Магдалене и о том, что я с ней сделал. Да, что я, Дмитрий, сделал с ней. Они всё подталкивают меня верить, врачи эти, что я, когда это делал, был не в себе. «Ты в глуби-*

*не души не плохой парень, Дмитрий, — говорят они мне, — не насквозь плохой. Нет, тебя вынудило то или это — приступ, припадок, а может, старомодная бесовская одержимость, временная. Но бодрись, мы тебя починим. Мы дадим тебе пилюлю и исправим тебя насовсем. Принимай одну нашу пилюлю сразу перед сном, другую — сразу после сна и веди себя хорошо, и станешь собой, глазом моргнуть не успеешь».*

*Ну и болваны, Симон, какие же болваны! Прими пилюлю, склони покаянную голову и вернешься к тому, чем был раньше! Что они понимают в сердце человеческом? Тот маленький мальчик знал больше. Уходи, Дмитрий! — сказал он. — Я тебя не прощаю! Пока врачи хоронили меня в пилюлях и добрых советах, лишь его памятное слово спасало меня: Я тебя не прощаю! Как иначе пережил бы я их заботу и дотянул досюда невредимым?*

*Останки мальчика теперь заложены кирпичом в приютской стене в розарии — покойнейшая обстановка, уверяет меня доктор Хулио. Сам я не поклонник горнила пламенного, но доктор Хулио говорит, что в его заведении кремация всегда была принята, а кто я такой, чтобы сомневаться в принятом? Если б спросили меня, я б голосовал за погребение физических останков целиком, без вычетов, в старомодной могиле. Посещать дырку в стене, как*

*я сказал доктору Хулио, совсем не то же самое, что навещать настоящую могилу на настоящем кладбище, где можно представлять себе усопшего, как он с улыбкой на устах покоится под покрывалом из почвы, ждет, когда объявится следующая жизнь.*

*Прах слишком незначителен по сравнению с настоящим телом, тебе не кажется? Да и как быть уверенным, что прах, доставляемый тебе по адресу в скромной урне из крематория, — действительно прах усопшего? Но, как уже сказал, кто я такой, чтобы раздавать указания?*

*Вернусь к будущему Давида. Давид был очень особенным юнцом, кто оказался под твоей опекой — твоей и сеньоры, и до ответственности этой, как выяснилось, вы не дотянули. Давай не будем спорить, ты сам понимаешь, что так оно и есть. Впрочем, утешься. Можем рассказывать историю Давида в тонах порозовее, по-добрее к тебе. Она такова. Тебе, преданному, надежному старому Симону, никогда не полагалось играть мелкую роль в жизни Давида. Твоя роль сводилась к тому, чтобы доставить его из Новиллы с Эстреллу и препоручить мне, Дмитрию, после чего удалиться со сцены. Ты себе это вот так никогда не представлял? Ты же человек думающий, поэтому, возможно, и представлял.*

*Ты человек честный, Симон, честный через край. Всмотрись в свое сердце. Горькая правда*

*такова: это я был тем, кто оставался рядом с мальчиком в его предсмертных муках, пока ты отдыхал дома, выпивал и дремал. Я — тот самый, кто, когда ночная медсестра принесла пилюли, от которых он бы заснул, те пилюли заставил исчезнуть. Зачем? Из уважения к нему. Потому что он боялся тех пилюль, боялся, что из-за них уснет, боялся, что никогда не проснется. Вопреки невыносимой боли (ты знаешь, как он страдал, Симон? — вряд ли) он не хотел умирать прежде, чем донесет свое послание.*

*Не желая, чтоб его послание умерло вместе с ним, тем, кому он это послание доверит, он выбрал меня. Тебя он не выбрал бы никогда. Вышла бы зряшная трата времени. «Беда с Симонном в том, что он не имеет ушей, чтоб услышать», — вот что не раз он повторял мне. «Симон просто не распознаёт, кто я, не способен уловить мое послание».*

*Я распознал Давида, а он распознал меня. Никаких сомнений. Мы были парой от природы, он и я, как лук и стрела, как рука и перчатка. Он был владыкой, а я — слугой. А потому, когда пришло время ему умирать, ко мне, верному Дмитрию, обратился он. «Я устал, Дмитрий, — сказал он. — С этим миром покончено. Помоги мне. Возьми меня на руки. Облегчи мне уход».*

*Вернусь к главной мысли. Отчасти Давид послание донес, хотя содержание его все еще*

*скрыто. Возможно, оно не сложилось у него целиком. Может, туча затмила ему разум, из которого послание должно было родиться. Возможно. Но в некотором смысле нашла туча на разум его или нет, не важно, поскольку посланием мог быть сам Давид.*

*Посланник был посланием: ослепительная мысль, согласен?*

*То, что посланник — или послание, или и то и другое вместе — оказались заложенными кирпичом, — возмутительно. Недопустимо. Я желаю, чтобы ты отправился в приют и извлек его оттуда. Невеликая это задача. Молотка и стамески должно хватить. Иди, когда стемнеет. Подожди бурной ночи, когда тебя не услышат за грохотом стихий.*

*Он пролетел, как комета. Я не первый высказываю это наблюдение. Комету легко упустить: достаточно мгновения ока, мимолетного невнимания. Мы в долгу перед ним, Симон, — хранить его пламя живым. Я понимаю, тебе это дастся нелегко — разорить могилу. Но это ненастоящая могила, это просто ниша в стене. Взгляни на это так.*

*Мы с тобой не сходимся во многом, но одно у нас общее: мы оба любим Давида и хотим вернуть его.*

*Дмитрий*

*P. S. Моя почта проходит досмотр клики врачей, тут так все устроено, поэтому не*

*адресуй свой ответ мне. Адресуй его Лауре Девито, доверенной подруге и, добавил бы я, пылкой последовательнице Давида. Когда все это неприятное дело будет сделано и нам выпадет возможность расслабиться за бокалом вина, я расскажу тебе всю историю целиком — нашу с ней историю. Ты не поверишь.*

Он рвет письмо Дмитрия надвое, на четыре части и бросает клочки в мусор. Любопытно оно, умение Дмитрия огорчать его — огорчать и заставлять кипеть гневом. Обычно он человек миролюбивый, миролюбивый до предела. Кипит ли он, потому что ревнует к Дмитрию, завидует его заявленной близости с Давидом? *Он был владыкой, а я слугой.* Он, Симон, таких слов не применял. *Он прокладывал путь, а я шел следом* — вот как сказал бы он из самоуважения.

Он не верит словам Дмитрия о том, что Дмитрий располагает посланием Давида. Будь послание и вправду у него, оно б оказалось тем, какое он выдумал в своих целях — чтобы опочить судей, например, и освободиться от заточения (сестры созерцания!), в которое они его поместили. Что-то такое: *Блаженны наглые, ибо им дано речь правду. Блаженны страстные, ибо летопись преступлений их сотрется начисто.*

Через три дня после письма от Дмитрия раздается стук в дверь. Ребенок из приюта — Эсте-

бан, высокий голенастый мальчик в буйстве прыщей.

Без единого слова Эстебан вручает ему письмо.

— От кого это? — спрашивает он, Симон.

— От сеньоры Девито.

— Ожидает ли сеньора Девито ответ? Потому что могу сразу тебе сказать, что ответа не будет.

Эстебан не произносит ни слова, лицо у него вспыхивает.

— Заходи все равно, Эстебан. Садись. Хочешь поесть что-нибудь?

Эстебан качает головой.

— Ну, сэндвич я тебе сделаю в любом случае. Не хочешь есть здесь — забирай с собой в «Лас Манос». Уверен, вам там еды дают недостаточно.

Эстебан осторожно садится, как велено. Он, Симон, режет хлеб, густо намазывает его джемом, кладет перед мальчиком, ставит стакан молока. Все еще пунцовея, Эстебан ест.

— Ты был другом Давиду, правда, Эстебан? Но в футбольной команде не играл. Футбол наверняка не твой вид спорта.

Эстебан качает головой, вытирает липкие пальцы о штаны.

— А какой твой любимый спорт? Чем ты больше всего любишь заниматься?

Эстебан беспомощно пожимает плечами.

— Читать любишь? В «Лас Манос» есть би-

блиотека? Выпадает тебе возможность читать истории — выдуманные истории?

— Не очень.

— А кем ты собираешься стать, когда закончишь «Лас Манос» — когда вырастешь?

— Доктор Хулио говорит, я мог бы стать садовником.

— Это хорошо. Садовники — славные люди. Ты в жизни хочешь быть садовником?

Мальчик кивает.

— А Мария Пруденсия? Вы же друзья с ней, верно? Мария тоже будет садовницей? Станете садовнической парой?

Мальчик кивает.

— Помнишь, Эстебан, что ты сказал на поминальном вечере по Давиду, когда вы с друзьями пришли в Академию с пустым гробом? Ты сказал, что хотел бы передать послание Давида. Какое послание ты имел в виду?

Мальчик молчит.

— Ты не знаешь. Все уверены, что у Давида было к нам послание, но никто не знает, в чем оно состоит. Скажи мне, Эстебан, что в Давиде тебя привлекало? Что вас с Марией Пруденсией подталкивало проделывать весь путь до больницы, день за днем, навещать его, когда он болел? Что придавало тебе храбрости выйти на сцену и произнести речь? Мне не кажется, что произнесение речей дается тебе легко. Сказал бы ты, что ваша дружба вдохновила тебя и при-

дала сил? Ты бы такое слово употребил? Мария — твой друг, это всем видно, а вот Давид был тебе другом? Как бы ты сказал?

Мальчик ведет плечами в припадке смущения и растерянности. Как же прокликает он, должно быть, тот миг, когда согласился отнести письмо этому старому хрычу, который прикидывается отцом Давида!

— Ладно, Эстебан, не буду тебя допрашивать больше. Вижу, тебе это не нравится. Ты понимаешь, годы напролет я был Давиду ближайшим другом. Его благополучие было моей единственной заботой, отменявшей все остальные. Непросто, когда такая дружба внезапно рушится. Вот почему я спрашиваю тебя о нем. Чтобы получить возможность увидеть его твоими глазами. Чтобы для меня он вновь ожил. Не сердись. Скажи сеньоре Девице, что ответа не будет. Вот тебе шоколадного печенья. Я положу в пакет. Поделись с Марией Пруденсией. Скажи ей, что это от Давида.

Когда Эстебан уходит, он, Симон, рвет письмо в клочки, не читая, бросает в мусорку. Через полчаса извлекает их, выкладывает на кухонном столе.

*Симон,*

*я попросил о простом, ты не ответил. Времени на дело у тебя до субботы, иначе я попрошу еще кого-нибудь.*

*Дмитрий*

*Р. С. Уверен, ты понимаешь, до чего неважны имена. Я бы запросто мог зваться Симоном, а ты так же запросто — Дмитрием. А Давид? Да кому теперь дело, каково было его настоящее имя, чтоб шум поднимать?*

*Не на именах все держится — что в этой больнице, что на белом свете, где ни возьми. Все держится на числах. Число управляет Вселенной — в этом, раскрою тебе тайну, состояло послание Давидово (но лишь отчасти).*

*Тебе невдомек, до чего небрежно тут, в больнице, избавляются от трупов — посмертно. Наша профессия — жизнь, а не смерть: таков наш гордый девиз. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов.*

*Промаш Давида заключался в том, что у него не было численного номера, с которым он был бы прочно связан. Жизнь без номера — штука среди сирот не самая необычная. Доктор Хулио доверительно сообщает, что время от времени ему приходится придумывать номер для подопечного ребенка, поскольку без номера не получишь социальных льгот. Но представь, что происходит в мертвой комнате (так она тут называется — мертвая комната), когда поступает нумерованный труп — или номер его, скажем так, вымышлен. Как закрыть папку с делом человека, если и дела-то никакого нет? Есть труп, несомненное физическое тело с ростом, весом и всеми прочими атрибута-*

*ми тела, но человек, персона, сущность, которой это тело принадлежало, не существует — и никогда не существовало. Что будешь делать, когда ты ничтожный трупоекладчик в самом низу больничной иерархии? Предоставлю тебе вообразить самостоятельно.*

*Вот к чему я все это, Симон: Давиду обязательно быть мертвым. Что-то проскользнуло сквозь мертвую комнату, что означало возникновение отсутствия в мире, нового отсутствия, но отсутствия не Давидова — не обязательно Давидова, не несомненно. Есть прах — прах несомненный — в нише в стене у реки, но кто возьмется утверждать, чей это прах? Возможно, просто старая зола, выметенная со дна печи, когда печь остыла, и ссыпанная в урну. Давида вкатили в мертвую комнату — ты видел его там, и я его там видел. Что случилось дальше — туман, туман и тайна. Выкатили ли его? Вышел ли он сам? Растворился ли он в воздухе? Неведомо — как неведома и причина его смерти. Атипично — вот на каком слове договорились врачи: что-то там атипично. Могли бы с тем же успехом написать: злосчастное сопряжение звезд. Так или иначе, дело закрыто (они ставят здоровенную черную печать, когда сдают папку в архив, я видел своими глазами: ДЕЛО ЗАКРЫТО). Но чье оно, то дело, философски говоря? Может, это просто дело какого-то призрака, вызван-*

ного к бытию в кабинете у доктора Хулио из соображений удобства, и в таком случае, философски говоря, это ничье дело. Улавливаешь? Страсть какая неразбериха. Страсть сколько вопросов без ответа.

Как я уже сказал, времени у тебя до субботы.

*P.P.S.* Ты никогда не был в заточении, Симон, а потому не представляешь себе, каково это — сидеть взаперти без всякого обещания свободы. А в каком обществе я вынужден находиться! Я, Дмитрий, среди седовласых стариков, горбатых, слюнявых, с недержанием! Думаешь, в запертом флигеле больницы лучше, чем в соляных копиях? Заблуждаешься. Я дорого плачу за свои ошибки, Симон. Плачу каждый день. Имей это в виду.

Вот чего мы хотим, чего хотим мы все — слова просветления, что распахнет двери нашей тюрьмы и выведет нас обратно к жизни. И, когда я говорю «тюрьмы», я не один только запертый флигель подразумеваю — я подразумеваю весь мир, весь громадный белый свет. Ибо мир таков, с определенной точки зрения: тюрьма, в которой сгниваешь, превращаясь в горбуна с недержанием, а в конце концов и в покойника, а затем (если веришь в те или иные истории, в которые я не верю) просыпаться на каком-нибудь неведомом берегу, где приходится заново разыгрывать тот же цирк.

*Изголодались мы не по хлебу (его мы едим на обед во всякий благословенный день — хлеб с тушеной фасолью в томатном соусе), но по слову, по пламенному слову, какое откроет нам, для чего мы здесь.*

*Понимаешь ты, Симон, — или ты выше голода, как выше страсти и выше страдания ты? Я иногда думаю о тебе как о старой рубашке, которую затаскали по морям так давно, что весь цвет, все содержимое из нее вымылось. Нет, конечно же, ты не поймешь. Ты считаешь себя нормой, ты señor Normal, а все остальные, не похожие на тебя, — сумасшедшие.*

*Есть ли у тебя хоть малейшее понятие о том, что за ребенок жил под твоей опекой? Он говорит, что ты соглашался с тем, что он исключительный, но представляешь ли ты, до чего исключительным был он воистину? Вряд ли. У него был шустрый ум и проворные ноги — вот что для тебя означает «исключительный». Тогда как я, Дмитрий, в былом — скромный музейный смотритель и невесть кто теперь, иными словами — нисколько не особенный, знал с того самого мига, как взор мой упал на него, что он не от мира сего. Он был подобен этим вот птицам, я забыл их название, какие спускаются с небес после дождичка в четверг, являют себя нам, простым приземленным, а затем вновь спархивают — возвращаются к своим вечным странствиям. Прости за витиеватость. Или*

*же подобен комете, как я говорил в прошлый раз, — нет ее в мгновение ока.*

*На улицах полно сумасшедших с посланием к человечеству, Симон. Тебе это известно не хуже, чем известно мне. Давид был иной. Давид был настоящий.*

*Я тебе говорил, что он доверил мне свое послание. Это не то чтобы строгая правда. Доверь он мне свое послание, я бы не сидел тут в запертом флигеле и не писал письмо человеку, с которым мне скучно сейчас и было скучно всегда. Я стал бы свободным существом. Нет, он не доверил мне свое послание — не вполне. В последние дни свои у него было с избытком возможностей сделать это. Я сидел у его постели, когда позволяли обязанности, и держал его за руку, и говорил: Дмитрий здесь, — и когда губы его шевелились, я склонял ухо, готовый к пламенному слову. Но оно не возникло. Почему я здесь, Дмитрий? — Вот какие слова возникли взамен. Кто я есть и почему я здесь?*

*Что мог сказать я? Уж точно не это: Понятия не имею, приятель-дружище мой. Послан мимо, если б пришлось мне сказать, если б по чину мне было угадывать. Доставлен ошибочно, не туда, не тогда. Нет, не собирался я эдак портить ему день. Ты послан спасти меня, — говорил я, — меня, твоего старого друга Дмитрия, кто любит тебя, и преклоняется перед тобой, и умрет ради тебя незамедлительно.*

Ты послан спасти Дмитрия и вернуть твою любимую Ану Магдалену.

*Но не это хотел он услышать. Ему этого мало. Он желал услышать что-то еще — что-то пограндиознее. Что именно, спросишь ты? Кто знает. Кто знает.*

*Штука в том, что неподдельные грешники вроде старины Дмитрия — это ему слишком просто. Как раз таких, как ты, — вот кого желал он спасти, такие бросали ему вызов. Вот старина Симон с его более-менее безупречной репутацией, славный малый, пусть славный и не чрезмерно, без всяких особых устремлений к грядущей жизни — ну-ка поглядим, что с ним можно поделаться.*

*Под конец он был слишком слаб — к такому выводу я пришел после долгой внутренней борьбы. Слишком слаб, чтобы выдать пламенное слово — хоть мне, хоть тебе. Когда осознал он, что конец близок, болезнь забрала слишком много его и более не было в нем нужной силы.*

*Ты знаешь, что на пике его болезни я предложил ему свою кровь? Предложил полное переливание: его кровь на выход, моя — в него. Они отказали, врачи эти. Не получится, Дмитрий, — сказали они, — не та группа крови. Вы не понимаете, — сказал я. — Я готов ради него умереть. Если ты готов умереть за кого-то, с кровью все получится, всегда. Страсть в крови выжигает маленькие кровяные частички,*

выжигает их мгновенно. *Они посмеялись, и всё.* Ты не понимаешь про кровь, Дмитрий, — *сказали они.* — Продолжай себе мыть туалеты. Только на это ты и пригоден.

*Я виню их. Виню врачей. Никогда б не доверил своего ребенка Карлосу Рибейро. Годится, если сломаны кости, или аппендицит, или что-то подобное, но в атипичном случае вроде Давидова совершенно лишен вдохновения. Вот кто тут нужен врачом, в таких атипичных случаях: вдохновение. Без толку опираться на учебник. Ни один учебник не поможет, если имеешь дело с таинственной болезнью. Я не врачевная задница, но и у меня б вышло лучше, чем у доктора Рибейро.*

*До скорого.*

*Д.*

## Глава 25

— Я собиралась кое-что сказать тебе, Симон, — говорит Инес. — Мы с Паолой решили, что пора продать магазин. У нас уже есть предложение. Когда продажа состоится, мы переедем в Новиллу. Решила, что надо предупредить тебя заранее.

— Вы с Паолой? А как же муж и дети Паолы? Они тоже переедут в Новиллу?

— Нет. Ее сын доучивается последний год в школе и уезжать не хочет. Останется с отцом.

— А в Новилле вы с Паолой планируете жить вместе?

— Да. Есть такая мысль.

Он давно уже предполагал, что Инес с Паолой — не просто деловые партнеры.

— Желаю тебе всяческого счастья, Инес, — говорит он. — Всяческого счастья и успеха. — Сказал бы и больше, но на том умолкает.

Так вот, значит, как завершается эта история, размышляет он после, история их маленького се-

мейного проекта: за смертью ребенка следует отъезд женщины, мужчина остается один в чужом городе оплакивать свои потери.

С женщиной он не был близок с тех самых первых дней в Новилле, когда трудился грузчиком в порту. К Инес он физической тяги никогда не питал. Нет простого наименования тому, кем они были друг другу: уж точно не мужем и женой, не братом и сестрой. *Compañeros*, наверное, ближе всего: словно из их совместной цели и общих усилий проросла между ними связь — не любви, но долга и привычки. И все же, даже как товарищ, даже в тесных рамках товарищества, какое она ему позволяла, он никогда не дотягивал, по ее меркам, никогда не был тем, кого она заслуживает.

Когда он прибыл к берегам этой земли, служащий, регистрировавший его, присвоил ему имя Симон и возраст сорок два года. Поначалу его это развлекало: возраст казался таким же произвольным, как и имя. Но постепенно, с ходом времени, число сорок два обрело свой роковой вес. Под судьбоносной звездой сорока двух взошла его новая жизнь. Но вот чего он пока не видит, что скрыто от него: когда же звездное влияние сорока двух завершится и начнется влияние другого числа, возможно, мрачнее, а может, и светлее. Или это уже случилось? Не ознаменовал ли день, когда умер

его сын, завершение сорока двух? Если так, в какую новую эпоху вступил он?

Он достаточно знаком с математикой Академии, чтобы знать: за сорока двумя не обязаны следовать сорок три, сорок четыре, сорок пять. Как звезды на небесах Академии танцуют под свою мелодию, так же и числа. Вопрос же вот в чем: что за человек он будет — тот он, что живет или жил под именем Симон, — под своей новой звездой? Перестанет ли он быть смиренным, благоразумным, скучным? Станет ли (слишком поздно!) тем человеком, каким полагалось бы правильному отцу Давида: легкомысленным, бесшабашным, страстным? А если так, каково новое имя ему?

В свое время питал он слабость к Альме, третьей из сестер с фермы. Как примут его, старого холостяка Симона, явись он завтра на порог фермы, облаченный в лучший костюм, с букетом цветов, и попытается ухаживать? Пригласят ли его войти — или же, наоборот, сестры спустят на него собаку?

Его размышления прерывает стук в дверь. Поначалу он не узнает посетительницу: принимает ее за соседку из их дома.

— Да? Чем могу быть полезен? — спрашивает он.

— Это я, Рита, — отвечает она. — Помните? Я ухаживала за вашим сыном в больнице.

Сердце у него трепещет. Не судьба ли пред-

лагает ему ответ на вопрос «куда теперь?» в виде этой отнюдь не непривлекательной молодой женщины?

— Конечно! — говорит он. — Как поживаете, Рита?

— Можно войти? — спрашивает Рита. — Я принесла вам Давидову книгу, которую он потерял. У нас была большая уборка, и я нашла ее в комнате персонала — ума не приложу, откуда она там взялась. Как вы сами, Симон? Держитесь? Передать не могу, как мы скучаем по Давиду — все мы. Это разбило нам сердце, когда... ну вы понимаете...

Он предлагает Рите бокал вина, та не отказывается. Принесла она, разумеется, «Приключения Дон Кихота», на обложке с тех пор, как он видел книгу последний раз, возникло темное пятно.

— Должна признаться, — говорит сестра Рита, — я колебалась. Поначалу хотела оставить себе на память, но потом подумала, что, должно быть, с этой книгой у Симона столько воспоминаний, пусть будет у него. Вот она.

— Передать вам не могу, до чего я вам благодарен, Рита. Поверите ли, как раз по этой книге Давид учился читать. Он знал ее наизусть — всю.

— Это славно, — говорит Рита.

Он не понимает.

— Рита, вы были с Давидом в его последние дни. Он когда-нибудь заикался насчет сво-

его послания? Оставил ли какое-нибудь послание по себе?

— Любопытно, что вы об этом спрашиваете. Совсем недавно мы обсуждали Давида и что он значил для нас. Поскольку, если сражаешься за пациента и теряешь его, как потеряли мы, полезно извлекать уроки и брать с собой послание этой потери в грядущие битвы. Иначе падаешь духом, поверьте слову. В случае Давида мы решили, что ключ к его посланию — отвага. Давид был отважным, отважным мальчиком, он ужасно страдал, но никогда не жаловался. Будь отважен, будь светел в беде: таково его послание, я бы сказала.

— Будь отважен. Будь светел. Не забуду, когда придет мое время.

— А ваша жена, Симон? Как она держится? Они с Давидом были очень близки, это я видела.

— Инес на самом деле не жена мне, — отвечает он. — На самом деле мы с ней вскоре расстанемся и двинемся каждый своей дорогой. Но, разумеется, она Давиду мать, истинная мать, даже если у нее нет подтверждающих бумаг. Его мать по выбору. Инес — мать его, а я же выполнял роль отца, поскольку никого лучше не нашлось. Да, мы с Инес отправимся каждый своим путем. Более того, признаюсь, когда вы постучали в дверь, я раздумывал, что же таит мое будущее. Инес вер-

нется в Новиллу — она сама оттуда, там ее семья. А я останусь в Эстрелле. У меня тут в некотором роде работа, ничего особенного, но мне она приносит удовлетворение. Я вестник. Развожу на велосипеде рекламные объявления по домам. Наверное, продолжу. В тот миг, когда вы постучали, я раздумывал, кто заменит Инес в моей жизни. Мы с ней были вместе почти пять лет, я привык с ней, хоть мы никогда и не были мужем и женой в привычном смысле слова.

Еще не договорив, он сознает, что сказал много лишнего, слишком много лишнего, и Рита, очевидно, чувствует то же самое, поскольку бесприютно ерзает на стуле.

— Мне пора, — говорит она, вставая. — Рада, что вернула вам книгу. Надеюсь, вы с Инес вскоре найдете покой.

Он провожает ее, в дверях смотрит, как опрятная фигурка удаляется по коридору.

Перелистывает книгу, которую она принесла. Пятно на обложке — кофе? — просочилось и слепило первые несколько страниц воедино. Переплет отрывается. Но отпечатки пальцев Давида повсюду, пусть и незримые. Своего рода реликвия.

К обороту обложки сзади приклеен листок бумаги, которого он прежде не замечал. На листке сверху значится *Город Новилла — Городские библиотеки*, а ниже слова:

*Дж. М. Кутзее*

*Дорогие дети,  
мы, сотрудники библиотеки, хотели бы узнать от вас, понравилось ли вам читать наши книги и что вы из них усвоили.*

*Каково послание этой книги? Что вы запомнили в ней ярче всего?*

*Напишите ваши ответы ниже. Мы очень хотим их прочесть.*

*Ваш друг библиотекарь.*

На выделенном для этого месте до того, как он, Симон, одолжил книгу у приветливого библиотекаря (а затем не вернул ее), оставили свои записи два читателя.

*Мне понравился Санчо, — гласит первый. — Послание этой книги в том, что надо слушать Санчо, потому что он — не сумасшедший.*

*Послание этой книги в том, что Дон Кихот умер, чтобы не жениться на Дульсинее, — сообщает второй.*

Ни та, ни другая записи — не почерком Давида. Какая жалость. Теперь уж никогда не узнать, в чем, по мнению Давида, состояло послание этой книги — или что он в ней ярче всего запомнил.

## Оглавление

Глава 1 . . . . .	5
Глава 2 . . . . .	12
Глава 3 . . . . .	19
Глава 4 . . . . .	23
Глава 5 . . . . .	37
Глава 6 . . . . .	46
Глава 7 . . . . .	54
Глава 8 . . . . .	58
Глава 9 . . . . .	70
Глава 10. . . . .	78
Глава 11. . . . .	87
Глава 12. . . . .	98
Глава 13. . . . .	106
Глава 14. . . . .	117
Глава 15. . . . .	123
Глава 16. . . . .	140

## *Оглавление*

Глава 17. . . . .	147
Глава 18. . . . .	160
Глава 19. . . . .	168
Глава 20. . . . .	177
Глава 21. . . . .	190
Глава 22. . . . .	209
Глава 23. . . . .	221
Глава 24. . . . .	229
Глава 25. . . . .	246

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО.  
КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

**Джон Максвелл Кутзее**

**СМЕРТЬ ИИСУСА**

Ответственный редактор *Д. Захарченко*  
Младший редактор *К. Захарова*  
Художественный редактор *Р. Фахрутдинов*  
Технический редактор *И. Гришина*  
Компьютерная верстка *Г. Балашова*  
Корректор *Е. Шершнёва*

Страна происхождения: Российская Федерация  
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»  
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, этаж 1, каб. 2013.  
Тел.: 8 (495) 411-68-86.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)  
Фондрик: «ЭКСМО» АКБ Евразия,  
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге қаласы, 1 үй, 1 г/ярақат, 20 қабат, офис: 2013 ж.  
Тел.: 8 (495) 411-68-86.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)  
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Интернет-магазин: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Интернет-дүкен: [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы»  
Казахстан Республикасының икәлеттүсінің «РДЦ-Алматы» ЖШС.  
Дистрибутор и представитель по приемке претензий на продукцию,  
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»  
Казахстан Республикасының дистрибутор және өнім бойынша арыз-талғаттарды  
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,  
Алматы қ., Дембровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.  
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)  
Өнімнің қарақалдық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ  
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»  
[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления/Подписано в печать 02.11.2020. Формат 84x108 1/32.

Гарнитура «Newton». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,44.

Тираж 2 000 экз. Заказ 7093.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, Россия, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15

Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)



**book 24.ru**

Официальный  
интернет-магазин  
издательской группы  
«ЭКСМО-АСТ»

16+

**Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»**  
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, строение 1.  
Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: [reserption@eksmo-sale.ru](mailto:reserption@eksmo-sale.ru)  
По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»  
E-mail: [International@eksmo-sale.ru](mailto:International@eksmo-sale.ru)

*International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*  
[International@eksmo-sale.ru](mailto:International@eksmo-sale.ru)

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном  
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.  
E-mail: [Ivanova.ey@eksmo.ru](mailto:Ivanova.ey@eksmo.ru)

**Отпавая торговля бумажно-белыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**  
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменная ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многочисленный),  
e-mail: [kanco@eksmo-sale.ru](mailto:kanco@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanco-eksmo.ru](http://www.kanco-eksmo.ru)

**Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Никозии Новгорода**  
Адрес: 603094, г. Никозия Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»  
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 83, 94). E-mail: [reserption@eksmo.nn.ru](mailto:reserption@eksmo.nn.ru)

**Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге**  
Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»  
Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: [server@szko.ru](mailto:server@szko.ru)

**Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбург**  
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2и  
Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

**Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самара**  
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»  
Телефон: +7 (846) 207-55-90. E-mail: [RDC-samara@mail.ru](mailto:RDC-samara@mail.ru)

**Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростов-на-Дону**  
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А  
Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: [info@rnd.eksmo.ru](mailto:info@rnd.eksmo.ru)

**Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирск**  
Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3  
Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: [eksmo-nsk@yandex.ru](mailto:eksmo-nsk@yandex.ru)

**Обособленное подразделение в г. Хабаровск**  
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703  
Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006  
Телефон: (4212) 910-120, 910-211. E-mail: [eksmo-khv@mail.ru](mailto:eksmo-khv@mail.ru)

**Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени**  
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени  
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Пермькова, 1а, 2 этаж. ТЦ «Перестрой-ка»  
Ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон: 8 (3452) 21-53-96

**Республика Беларусь: ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си»**  
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске  
Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outlet»  
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92  
Режим работы: с 10.00 до 22.00. E-mail: [eksmoast@yandex.by](mailto:eksmoast@yandex.by)

**Кавказстан: «РДЦ Алматы»**  
Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровскийго, 3А  
Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

**Украина: ООО «Форс Украина»**  
Адрес: 04073, г. Киев, ул. Вербовай, 17а  
Телефон: +38 (044) 290-99-44, (067) 536-33-22. E-mail: [sales@forsukraine.com](mailto:sales@forsukraine.com)

Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных  
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: [www.chitai-gorod.ru](http://www.chitai-gorod.ru)  
Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»  
[www.book24.ru](http://www.book24.ru)

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.  
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: [imarket@eksmo-sale.ru](mailto:imarket@eksmo-sale.ru)

В большинстве магазинов  
и на сайте [www.eksmo-sale.ru](http://www.eksmo-sale.ru)

**ЛитРес:**  
одна книга до книги



ISBN 978-5-04-113664-2



9 785041 1136642 >

**ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!**



[eksmo.ru](http://eksmo.ru)

Мы в соцсетях:

- [eksmolive](https://www.facebook.com/eksmolive)
- [eksmo](https://vk.com/eksmo)
- [eksmolive](https://plus.google.com/eksmolive)
- [eksmo.ru](https://twitter.com/eksmo.ru)
- [eksmo\\_live](https://www.youtube.com/eksmo_live)
- [eksmo\\_live](https://www.instagram.com/eksmo_live)

Джон Максвелл Кутзее — первый писатель, который дважды был награжден Букеровской премией: в 1983 году за роман «Жизнь и время Михаэла К.» и в 1999 году за роман «Бесчестье». В 2003 году Кутзее удостоился Нобелевской премии по литературе. «Описывая слабости и недостатки людей, писатель обнаруживает божественную искру в человеческом существе», — говорилось в заявлении Шведской академии.

В 2013 году Кутзее создал «Детство Иисуса» — полную символов, зашифрованных смыслов аллегорическую сказку о детстве. Книга-игра, книга-ребус, книга-наваждение поставила в тупик не только читателей, но и критиков.

«Смерть Иисуса» — заключительная часть знаменитой трилогии Дж. М. Кутзее.

Давиду уже десять. Он играет в футбол и спорит с родителями, но, несмотря на такие привычные мальчишеские повадки, он совсем не похож на сверстников. История о пути Давида в этом мире полна непростых вопросов о жизни, людях и памяти. Философский и пронизанный размышлениями, «Смерть Иисуса» — невероятный по своей силе роман, каждое слово которого — с трудом постижимая загадка.

ISBN 978-5-04-113664-2



9 785041 136642 >

